

[Polaris]

ПАВЕЛ ШКУРЖИН



ХУНХУЗЫ

Собрание сочинений

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССXXXIV



Salamandra P.V.V.

**Павел
ШКУРКИН**

ХУНХУЗЫ

Собрание сочинений

Том I

Salamandra P.V.V.

Шкуркин П. В.

Хунхузы. Сост. и подготовка текста М. Фоменко (Собрание сочинений. Т. I). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 215 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXXXIV).

Настоящее издание — первое общедоступное собрание сочинений синолога и этнографа П. В. Шкуркина (1868-1943), одного из самых известных востоковедов русской эмиграции, многолетнего друга и соратника В. К. Арсеньева, с 1913 г. жившего в Китае, позднее в США. Сочинения Шкуркина, который собрал и перевел на русский язык множество китайских и корейских сказаний и легенд, до сих пор оставались известны лишь ученым либо выпускались минимальными тиражами по спекулятивным ценам, что препятствовало знакомству с ними широкого круга читателей.

В первый том собрания вошли произведения, в которых П. В. Шкуркин выступил как оригинальный прозаик — сборники рассказов «Хунхузы» (1924) и «Игроки» (1926) и небольшая приключенческая фантазия «История капитана Догерти» (1939). В своих «этнографических рассказах» Шкуркин выступает прекрасным знатоком китайского быта. Оно и неудивительно: с китайскими разбойниками-хунхузами, к примеру, Шкуркин был знаком не понаслышке и боролся с ними как военный и полицейский на Дальнем Востоке в 1900-х гг.



ХУНХУЗЫ

Рассказы из китайского быта

В. ШКУРКИН.



Рассказы

из

Китайского
быта

ХУНХУЗЫ



M. Weymann

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Хунхуз!

У каждого из нас при этом слове возникает представление о кровожадном разбойнике, жестоком грабителе, воре, вероломном обманщике, человеке-звере, чуждом всякого понятия о чести, ненавидящем иностранцев — особенно русских, — и т. д. и т. д.; вот ходячее представление большинства из нас о хунхузах.

Всякого вора-китайца, грабителя, убийцу, мы называем «хунхузом», не подозревая того, что настоящий хунхуз оскорбился бы, услышав, что мы величаем «красной бородой» (перевод слова хунхуз) всякого грязного бродягу или разбойника...

В нашем быту нет такого общественного явления, которое было бы похоже на китайское «хунхузничество», поэтому нет и соответственного слова, которое выразило бы более или менее верно это понятие.

Нечто подобное существовало (в более грубом виде) у нас на Дону, Яике и Днепре в XVI-XVII веках, да в Южной Европе и Италии в средние века.

В Китае же, Маньчжурии, да и у нас в Приморьи, хунхузы и ныне играют огромную роль в жизни страны, имеющую иногда решающее значение даже в политическом отношении.

Вот почему не только интересно, но даже необходимо по возможности детально с тем, что же такое «хунхуз»: только разбойник, грабитель, вор, — или нечто другое?..

Всякая характеристика этого любопытного социального явления в Китае будет неточна; поэтому пусть лучше сам читатель сделает свои собственные выводы из ряда предлагаемых рассказов, — объединенных одним общим названием «Хунхузы». Здесь он увидит жестокость, мстительность, человеконенавистничество, разбой с грабежом во всех видах, убийства и т. д.; но увидит также верность своему слову, своеобразную честность, рыцарское отношение к женщине.

Одного он только, вероятно, не увидит — подлости и предательства...

Кроме того, «хунхузничество», как бытовое явление, — заслуживает самого глубокого внимания, и должно сделаться предметом серьезного научного исследования.

Предлагаемые рассказы — не беллетристические: они не обработаны с внешней стороны, форма их груба, и изложение не удовлетворяет элементарным требованиям изящной словесности. Но зато все они взяты из жизни; все рассказанные в них случаи списаны с действительности по возможности с фотографической точностью; это — негативы или протоколы. Кое-где лишь изменены имена, п. ч. большинство упоминаемых лиц — здравствуют и по сие время.

Рассказы эти разрешите назвать этнографическими.

П. Шкуркин

1919 г.

I

ОТПЛАТА

Если вы внимательно взглянете на карту нашего Южно-Уссурийского края с окружающим его районом, то вас удивит одно обстоятельство: на всем протяжении нашей государственной границы, начиная от пограничного столба лит. Л. (севернее оз. Ханка) до столба XI (близ Новокиевского), через нашу границу проходит в сущности лишь одна грунтовая дорога от ст. Полтавской до г. Саньча-гоу.

Есть еще несколько троп от Турьего Рога на Фынъ-мишань-цзы; от Барабаша — на д. Тумынь-цзы (которую несколько лет охранял знаменитый Г а с с а н — штабс-капитан 8-го Вост. Сиб. Стр. полка, — турок, взятый в плен в 1879 году, затем крестившийся, женившийся на русской и навсегда оставшийся в России); и две тропы от Седими на речку Тумыньцзы.

И это на протяжении 340 верст!

Само собою напрашивающееся объяснение этого явления — то, что по границе идет, вероятно, труднопроходимый горный хребет. Ничуть не бывало! Горы этого района совсем не так дики, как кажутся, и дорог, связывающих наш Южно-Уссурийский край с прилегающим китайским районом (уезды Хуа-чуань-сянь, Дунъ-нинъ-сянь или Саньчагоу и Ванъ-цинъ-сянь) было бы гораздо больше, если бы этот район... не принадлежал хунхузам. Железная дорога, перерезавшая эти места, в сущности, нисколько не изменила положения дела.

Южная часть нашей пограничной полосы в этих местах заселена главным образом корейцами — русско-подданными; северная — казаками, и по берегу оз. Ханка — крестьянами. Отношения между нашим и зарубежным китайским населением установились весьма странные: не то состояние войны, не то вооруженный мир. Постоянные столкновения, жалобы с нашей стороны на нападение хунхузов и пр. А между тем, те же казаки сплошь и рядом нанимаются к ки-

тайцам охранять маковые поля «от хунхузов» в период сбора опиума — в июле месяце: турий-рогцы, например, еще недавно (до появления на р. Мурени китайцев-переселенцев, не хунхузов) пользовались и лесом по ту сторону границы, и рыбу ловили, беспрепятственно охотились и т. п. Это им разрешалось, во-первых, потому, что они были покладистее казаков, а во-вторых — потому, что в северной части этого района, с китайской стороны, нет золота.

Южнее же, примерно начиная от Сяо-Суйфыня, — горы почти сплошь золотоносны, и водворившиеся там «хунхузы» были бы недурными соседями при одном условии: чтобы никто из «посторонних» не проникал к ним ни с нашей стороны, ни с китайской.

Вот этот-то переход через границу, стремление «поискать» там кой-чего, а при случае — и «молча попросить» что поценнее, — и являются основными причинами столкновений. И в самом деле: выросли панты у оленя, или осенью ревет изюбрь, или мясо нужно — а у Барабашевской Левады кабанов столько, что хоть в хлев загоняй... Ну как тут не пойти на охоту? Пойдешь и забредешь за границу. А как ее определишь, где эта черта? Южнее еще под Барабашей по пограничной черте тропа есть; а дальше к северу она ничем не обозначена, так что многих пограничных столбов и найти нельзя.

Словом, «хунхузы» от наших отмежевались; не смей ходить сюда. И пока это требование исполняется, — все благополучно; раз оно нарушено — столкновение почти неизбежно.

Особенно часты посещения хунхузов местности около поселка А. Это объясняется тем, что казаки поселка отличаются особой «предприимчивостью».

Был в этом поселке казак Бухрастов, состоятельный хозяин и местный кулак, недолюбливаемый даже своими односельчанами за свою крутость и чрезвычайную скупость. Молва довольно определенно приписывала его богатство охоте на «фазанов» (т. е. китайцев) и на «белых лебедей» (корейцев).

В один год в июле, — было это уже лет пятнадцать тому назад, — Бухрастов подобрал человек пять своих приятелей и пошел с ними на охоту. Вернулся дней через шесть; мяса не привез, — но охота была удачна: несколько корешков женьшеня, пару хороших оленьих пантов, уже сваренных, да горсточку золотого песку привез Бухрастов домой, — и все выгодно сбыв китайцам в Саньчагоу.

Был у Бухрастова сын — Митя, мальчик лет десяти, шустрый, бойкий и своевольный мальчик, в котором отец души не чаял. Однажды мальчик, очень любивший лошадей и бывший уже недурным наездником, поехал верхом по тропе на запад и забрался довольно далеко в горы. Попались ему навстречу три китайца, тоже верхами, и спросили мальчика, куда он едет. Тот ответил, что никуда — просто гуляет. Когда китайцы похвалили его коня, довольный мальчик разговорился, рассказал, кто он такой, и похвастал, что его отец — самый богатый казак в поселке. Китайцы кое-как говорили по-русски, а Митя, как и все местные казачата, — болтал немного по-китайски, так что они хорошо понимали друг друга.

Затем китайцы что-то потихоньку переговорили между собою, и, повернув коней назад, предложили мальчику ехать к ним «в гости». Митя стал отказываться, но китайцы, продолжая его уговаривать, успели сначала завладеть поводом от его коня, а затем заставили его обменяться конями с одним из китайцев и быстро поехали на запад.

Мальчик увидел, что дело плохо, и обдумывал, нельзя ли бежать; но скоро убедился, что это невозможно: бывший под ним китайский конь совсем его не слушал и ни под каким видом не хотел уходить в сторону от остальных коней.

Китайцы несколько раз бросали тропу и уверенно пробирались целиком без пути, между горами; видно было, что местность им отлично знакома. Стало уже темнеть, когда китайцы остановились в глухом лесу около «дуй-фанцы» (зверовой избушки) и сняли с седла измученного Митю.

В фанзе было человек десять китайцев: часть их сидела на кане (нары), куря трубки, другие — лежа курили опий; при слабом свете невыносимо чадивших масляных светиль-

ников можно было различить несколько ружей, повешенных на стенах или лежавших в углу у кана.

Мальчик понял, к кому он попал, и испугался; но он знал, что перед хунхузами нельзя выдавать своего страха, — и поэтому бодрился. Приехавшие китайцы что-то докладывали пожилому китайцу со злым испытанным лицом и родинкой на левой щеке, — по-видимому, их предводителю, — причем не раз упоминалась фамилия «Бухэласту», Бухрастов.

Митю поставили перед предводителем, и последний через одного из приехавших китайцев стал подробно расспрашивать про отца, его занятия, богатство и т. п. Мальчик осторожно отвечал, инстинктивно понимая, что неосторожным ответом он может повредить отцу, и недоумевал, почему китайцы были так довольны, когда узнали, что он единственный сын у отца.

Ему дали поесть и положили спать на кане между китайцами.

Растянувшись на теплом кане, сжатый с двух сторон соседями, Митя стал строить планы, как бы бежать отсюда; но, с одной стороны, он увидел, как сменялся часовой, очевидно, окарауливавший фанзу снаружи, а с другой — Митя и не заметил, как он, измучившийся днем, крепко заснул и проснулся только утром, когда все китайцы были уже на ногах.

Мальчика перевели в боковую пристройку без окон и заперли двери на замок. С этого момента его стали очень плохо кормить и грубо обращаться; а когда мальчик попытался раз бежать, — его жестоко избили и, продержавши целые сутки связанным, — пригрозили, что если он еще попытается бежать — то, помимо телесного наказания, он все время будет лежать на сыром грязном земляном полу связанным по рукам и ногам... Этого мальчик боялся больше всего, и больше не делал уже попыток бежать.

Между тем, обеспокоенный пропажей сына, отец Бухрастов всюду его разыскивал. Нашлись люди, которые видели, как мальчик скакал на своем любимом гнедом коне, направляясь к горам. Соседи успокаивали отца, говоря, что, вероятно, конь сбросил мальчика, и он скоро пешком вернется до-

мой; но прошел день, два, три — не возвращались ни мальчик, ни Гнедко.

На четвертый день мальчишка-казачонок пришел с поля и принес листок китайской бумаги, сказав, что эту записку ему отдал какой-то китаец и велел отнести Бухрастову.

Бумажку принесли Бухрастову. Он развернул ее и увидел русские каракули, написанные карандашом: «Бухоластофу мало-мало капитана», — разбирал он.

«Тебе шибко хунхуза есть тебе хочу сына назад ходи первый сонца восьмой месяц положи десять тысяч рубли сопка дорога первый бога фанза».

Казакам, прослышавшим про записку и привыкшим к языку китайцев, не стоило труда расшифровать записку:

«Уряднику Бухрастову. Ты — разбойник. Если ты хочешь, чтобы твой сын вернулся, — то первого августа (по китайскому календарю) положи 10.000 рублей в кумиренку, стоящую на первом перевале по дороге в горы».

Бухрастов очень любил своего сына, — но деньги любил еще более. Кроме того, у него, быть может, и не было такой суммы... Поэтому он на другой же день написал хунхузам ответ, клятвенно уверяя, что у него нет и пятой части требуемой суммы; затем, захватив для охраны двух односельчан, он поехал по известной уже нам тропе, на которой, верстах в десяти от поселка, стояла маленькая кумирня. Такие кумирни строятся китайцами в честь местных духов гор почти на каждом перевале; они обыкновенно не выше двух-трех аршин, а то и меньше. К задней стене внутреннего помещения приклеено изображение одного или трех божеств; перед ним стоит чашка с пеплом, в который втыкают курительные палочки, — или же просто лежит камень.

Бухрастов с товарищами подъехал к кумирне, на переднем фронте которой красовалась отлично высеченная в сером кирпиче надпись: «Гэнь-гу-и-жэнь»* (Был в древнос-

* *Примеч.:* В общепринятой транскрипции китайских слов буква Ъ (твердый знак) обозначает носовое произношение предыдущей буквы Н; а буква Ъ (ять) — резко йотированное Е. Поэтому избежать букв Ъ и Ъ в передаче китайских слов совершенно невозможно. *Авт.*

ти один человек). Казаки слезли с коней и Бухрастов положил свое ответное письмо в кумирне под чашку с пеплом.

Казаки внимательно осмотрелись кругом — нигде не виделось ни души. Было тихо и спокойно, и только вершины высоких отдельно стоящих дубов, — остатков когда-то росшего здесь сплошного леса, — своим шелестом возбуждали в душе какое-то жуткое чувство, которое испытывается обыкновенно в лесу и на кладбище.

Казаки двинулись в обратный путь и не заметили, что пара зорких глаз не пропустила ни малейшего их движения...

Через два дня Бухрастов попросил одного из своих товарищей съездить к кумирне провести — взято ли его письмо или нет. Казак приехал к кумирне и заглянул в нее — там ничего не переменилось; конечно — письмо Бухрастова нетронуто... Но каково же было его удивление, когда он, приподняв чашку, — увидел вместо бывшего здесь раньше белого листа бумаги, — лежащий китайский конверт с красной полосой посередине! Очевидно, — это был ответ.

Казак взял письмо и спешно двинулся назад.

Бухрастов с трепетом разорвал конверт и прочитал написанные по-русски прежним же почерком каракули:

«Тебе шибко машинка есть нова месяца первый сонца тащи пять тысяч. Моя кончай меняй нету. Деньги нет тебе сынка ей бога помирай есть».

Смысл письма был слишком ясен — Бухрастов решил уже в душе выполнить требование хунхузов, — но предварительно поехал заявить начальству — поселковому и станичному атаманам. Те оба в один голос стали его отговаривать, уверяя, что можно и мальчика спасти, и деньги сохранить; нужно только обмануть хунхузов.

Бухрастов согласился, и они сообща выработали план действий. Решено было в назначенное хунхузами время положить на указанное место пакет с белой бумагой, — и в то же время незаметно окружить местность вокруг кумиренки. Хунхузы пришлют одного из своих взять деньги; захватить этого хунхуза будет нетрудно, и тогда, конечно, хунхузам придется выпустить мальчика, чтобы добиться освобождения своего пленника.

Так и было сделано. Срок наступал через два дня. Целая ватага казаков во главе с поселковым атаманом поехала в горы; человек шесть из них спешили, не доезжая с полверсты до кумиренки, чтобы незаметно оцепить местность, а остальные шагом въехали на самый перевал.

Все по-прежнему было тихо, только изредка перекликались какие-то птицы. Нигде не было видно ни души.

Бухрастов положил толстый пакет с бумагой под чашку в кумирне, вместе с товарищами спустился с перевала и, медленно отъехав версты две, — остановился и стал ожидать, когда засада приведет хунхуза; ведь хунхузы теперь наверно установили наблюдение за кумирней и должны уже знать об их приходе!

Прошел час, два, три. Наступил вечер. Уже стемнело, — а с западной стороны все не слышно никакого шума.

Бухрастов сильно волновался. Наконец послышались шаги — это вернулась засада, никого не захватив. Смущенные люди заявили, что сидеть или лежать всю ночь в лесу под росой им было невмоготу; они решили спуститься вниз и обогреться, — но перед уходом решили удостовериться, на месте ли «деньги».

Пакет исчез...

Обезоруженные казаки не знали, что делать. До утра судили-рядили, а утром осмотрели все кругом — но никого не нашли и вернулись домой.

Станичный атаман, к которому тотчас поехал нарочный с донесением, — очень встревожился и решил, что нужно выручать мальчика силою.

На другой день собрался отряд казаков человек в пятьдесят с ружьями, который двинулся по тропе на запад и скоро втянулся в горы.

Ехали казаки неуверенно — ближние места они знали хорошо, а дальние — плохо; кроме того, и хунхузов опасались. На другой день они разыскали в лесу зверовую фанзу.

Страшное зрелище ожидало их. Перед фанзой к стволу дерева был привязан труп Мити, зверски убитого...

Убийцы, конечно, разысканы не были.

Все новости в городах разносятся неизвестно как, — но чрезвычайно быстро, и скоро все хунхузские общины, жившие на двести верст в округности, знали о случившемся.

Дня через три к атаману шайки, убившей Митю, явился высокий рябой китаец в сопровождении двух вооруженных телохранителей, и, обращаясь к нему, сказал:

«Ли да-га-да (т. е. Ли, по прозвищу Большая бородавка)! Ты недостойн звания “независимого храбреца” (так себя называют хунхузы). Убирайся со своими людьми вон из этих гор и навсегда!»

— Ты, ты... а ты кто такой? — закричал взбешенный атаман.

— Я — Чжань Лао-эръ, — спокойно ответил пришедший.

— Чжань ма-цзы, Чжань ма-цзы (т. е. рябой Чжань), — пошел почтительный шепот между присутствующими хунхузами, а Ли да-гаду точно холодной водой облили. Он поклонился и сказал:

— Слушаю, господин!

Рябой Чжань был главой самой большой хунхузской общины и владельцем самой богатой золотой россыпи этого района; но жил он значительно южнее, — и поэтому северные общины в лицо его не знали. Но одно имя его внушало почтение и страх, и ослушаться его приказания еще никто не осмелился.

Чжань Лао-эръ спокойно повернулся и вышел, провожаемый почтительными, хотя и злыми, взглядами шайки Ли да-гады.

Через день Ли со всеми своими людьми, забрав все, что только мог унести с собой, и сожегши то, чего не мог взять, — ушел куда-то на запад. По слухам, он где-то за Бодунэ и сейчас грабит монголов.

II

СТАРАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ

Лет за пять перед великой войною, почти на всех наших лесных концессиях в Маньчжурии усиленно стали пошаливать хунхузы, облагая податью (правда, не очень значительной) китайские артели, работавшие на концессиях, — а иногда требовали и от администрации доставления им провизии, одежды, патронов, ружей и т. п.

Оперировали, большею частью, мелкие шайки; но иногда в том или другом районе собирались такие значительные скопища, что против них посылались и наши отряды, и китайские войска. Наши — большею частью возвращались благополучно назад, не имея возможности догнать заблаговременно предупрежденных хунхузов; китайские же — или били хунхузов, или сами бывали биты.

Однажды шайка хунхузов нагрянула на китайскую артель на концессии С. Рабочие или не могли, или не хотели удовлетворить требований хунхузов, ссылаясь на контору, не приславшую муки и прочих припасов.

Тогда главная партия хунхузов ушла из становища, а часть их пошла к конторе и, подстергши указанного им китайскими рабочими русского десятника этой артели, — схватили его, порядочно избili, так как он сопротивлялся, и повели его к предводителю.

Положение десятника было незавидное: он сопротивлялся, поэтому знал, что его без солидного выкупа наверное не выпустят; но возможно, что ему грозит что-либо худшее...

Привели десятника в зверовую фанзу, выстроенную когда-то орочоном или гольдом-охотником, и поставили, связанного, перед главарем, сидевшим на нарах за столом, уставленным китайскими блюдами с едой.

— Тебе почему мука не тащи? — обратился к нему по-русски главарь шайки.

— Контора получай нет, Харбин посылай нет, — отвечал перепуганный десятник.

Хунхуз стал внимательно всматриваться в десятника.

— Тебе Федор Ванич?

— Да, это я.

— Тебе мадама Марья? — продолжал спрашивать хунхуз.

— Верно, — отвечал десятник, а сам думает: «И откуда он меня да и Марью знает? И для чего спрашивает? Как бы еще хуже чего не вышло!»

Хунхуз отдал какое-то приказание — и веревки, стягивавшие локти десятника, были тотчас сняты.

— Садись, мало-мало кушай!

Изумленный десятник присел; и, так как он ничего с утра не ел, — то, пересилив страх, принялся за еду, недоумевая, зачем его хунхуз кормит, быть может, перед смертью?

«Хозяин» отдал еще какое-то распоряжение, и тотчас были принесены все вещи, отобранные у десятника и, между прочим — призовые серебряные часы, полученные им еще на военной службе.

— Бери твоя, — сказал хозяин.

Десятник все больше недоумевал. Хунхуз улыбнулся:

— Тебе мало-мало думай! Четыре года назад тебе работай на Яблони у К.? — и хунхуз назвал фамилию крупного лесопромышленника.

— Работай!

— Тебе помнишь Василия, что рука топор ломайла; другой десятник говори — твоя нельзя работай, — цуба Харбин! Тебе Марья говори — его Харбин ходи — кушай нет, — помирвай есть! Марья шибко хорошо лечи — один месяц Василий работай есть!

Десятник вспомнил — действительно, был такой случай несколько лет назад, когда один из рабочих-китайцев поранил себе руку. Китайца хотели расчитать, но его жена заступилась за рабочего и, приобретя кое-какие сведения о перевязках во время своей службы сиделкой в больнице, — стала сама «лечить» больного. На ее счастье, рука быстро зажила без особых осложнений; рабочий скоро ушел и о нем все забыли.

— Смотри! — сказал хунхуз и протянул левую руку. У основания большого пальца тянулся большой шрам.

Тогда только десятник догадался, кого он видит перед собою, и сладкая надежда на спасение заставила забиться его сердце.

— Ну, — продолжал хунхуз, — бери твои вещи и ходи домой. Скажи Марья — шибко хорошо!

И он опять отдал какое-то приказание своим подчиненным.

Через несколько минут десятник в сопровождении двух хунхузов-проводников пробирался через лесную чащу кратчайшим путем к своей конторе.

В тот же день вечером предводитель хунхузов потребовал в свою фанзу одного из конвоиров, сопровождавших десятника.

— Ты исправно доставил десятника домой? — сказал он.

— Да, исправно, — отвечал хунхуз.

— Почему же ты не доложил мне по возвращении? — уже строже спросил атаман.

— Мы только что вернулись, Да-лао-ф! — смутился тот.

— А как у тебя очутились часы десятника?

Хунхуз помертвел; из-за косого борта его куртки предательски высовывался кончик серебряного брелока в виде перекрещивающихся ружей, — тот самый, который висел на конце цепочки от часов у десятника.

— Мне... мне... подарил их десятник, — лепетал растерявшийся вконец хунхуз.

— А я что приказал?

— Да-лао-ф, великий господин! Я виноват!

Через пять минут хунхуз был расстрелян, а на другой день какой-то китаец вызвал десятника из конторы, отдал отобранные у него накануне одним из проводников часы, и, рассказав все случившееся, — быстро скрылся.

III

СЕРЬГИ

...Хунхуз хунхузу — рознь... Правда, в тех шайках, где хозяин ее, по вашему атаман, поддерживает строгую дисциплину — в таких шайках случаев бессмысленной жестокости, ненужных убийств или грабежа бедных людей почти не случается; но там, где дисциплина слаба, каждый хунхуз может своевольничать и творить всякие безобразия. А если в такой шайке атаманом делается еще человек без всякого чувства совести и чести, то тогда не только богатым людям, но и нам, бедным крестьянам-земледельцам, часто приходится очень плохо. Тогда одна только надежда на наши «туань-лянь-хуй», т. е. «обученные военному делу общества», так называют у нас деревенские добровольные милиции, цель образования которых — именно защита от хунхузов. Вы ведь знаете, что солдат у нас мало, да и расквартированы они там, где как раз хунхузов мало, или их совсем нет; кроме того, солдаты очень неохотно дерутся с хунхузами: то ли им неохота рисковать собой ради нас, то ли неловко идти против своих бывших «братьев». Между солдатами ведь много бывших хунхузов. Во всяком случае, если на кого мы надеемся,—то только на нашу милицию.

То, что я хочу рассказать вам, случилось в деревне Чаоянь-гоу, на южной дороге от Омосо к Нингуте. Дорога эта идет по правому берегу верхнего течения реки Муданьцзяна, до его впадения в прелестнейшее во всей Маньчжурии озеро, называемое Биртынь или Да-ху. И хотя именно здесь-то и зародилось маньчжурское государство, но рассеянные всюду валы и городища представляют собою остатки не маньчжурских городов, а какого-то другого, более древнего государства, существовавшего на этом месте до маньчжур, Бохая, что-ли. Кое-где остались здесь еще старые усадьбы настоящих маньчжурских семей, говорящих у себя дома по-маньчжурски; но у них ничего о старине узнать нельзя, потому что они народ все необразованный.

И места же здесь красивые! Все лес и горы; но не те дикие и непроходимые горы, которые, говорят, тянутся дальше на восток, — а целый, донельзя запутанный лабиринт невысоких хребтов, отдельных сопок, перевалов, ущелий и долин с бесконечным количеством чрезвычайно извилистых рек, речек и ручьев. Мест, удобных для пашни, не так уж много; но лесу, а в лесу зверя — сколько угодно.

Кругом на много верст, на север и запад, до Нингуты и Гирина, а на восток и юг, Бог знает, до какого места — нет крупных городов и поселений, а следовательно, нет и солдат.

Словом, этот край — благодатное место для хунхузов.

Они здесь всегда водились; есть и теперь.

Солдат в этих местах, как я говорил — почти нет; да и слава Богу — без них лучше. Поэтому для защиты от хунхузов, как в нашей деревне, так и в соседних: Гуань-ди, Гань-цзы, Ша-хэ-янь-эр, Да-дянь-цзы, Да-шань- цзуй-цзы и т. д., везде образованы отряды туань-лянь-хуй. Мне только что минуло шестнадцать лет, я тоже поступил добровольцем в наш деревенский отряд и с гордостью, хотя и обливаясь потом, таскал старую берданку во время наших редких строевых учений.

Дома у моего отца было большое хозяйство; всего было вдоволь — знаете, как в зажиточных китайских усадьбах: и хлеб свой, и скот есть, и огород; сами ткали и красили дабу, сами и водку гнали. Ну словом, как у вас говорится — была в доме полная чаша. Работников у нас было несколько человек, но отец заставлял меня и братьев работать наравне с работниками.

Однажды мы с отцом были в фанзе. Кто-то со двора крикнул, что свиньи ушли в поле. Отец взглянул на меня — я понял и тотчас побежал, чтобы загнать свиней домой. Но, когда я их гнал, то увидел, что наши кони также забрели на дальнее поле, засеянное гаоляном. Поэтому, загнавши свиней, я побежал за лошадьми. Но хитрая скотина, увидев меня, стала потихоньку уходить все дальше и дальше, так что я должен был сделать круг версты в две, чтобы обойти их.

Только что я собрался было гнать коней домой, как случайно я увидел в стороне, по дороге на Да-дянь-цзы, медлен-

но ехавших гуськом шестнадцать верховых людей. Я испугался, потому что у каждого из них были ружья за спиной, и я упал между грядками гаоляна, но так, чтобы мне было все видно. Как только они скрылись за складкой местности, я бросился бегом домой и рассказал отцу.

Сомнения не было, что это были хунхузы — кто же ездит с ружьями в наших краях? Отец тотчас дал знать начальнику нашей милиции Ли Юнь-си. Тот в одну минуту собрал весь наш отряд, и мы бегом, прямым путем через поля, направились наперерез.

Дорога на Да-дянь-цзы делала здесь большой крюк, и на ней было несколько топких мест, так что хунхузы должны были задержаться, и мы успели раньше их добраться до глубокой промоины, находившейся около дороги и заросшей кустарником. Тут мы и залегли.

У нас было четыре фальконета — знаете, огромные ружья, заряжающиеся с дула круглыми пулями в полтинник величиной. У других были берданки и несколько крупнокалиберных шомпольных ружей. Мы удобно разместились по краю рывины, зарядили ружья и условились, что по первому крику фазана мы прицелимся, а по второму крику — сразу выстрелим. При этом было точно распределено, кому стрелять в первого хунхуза, кому — во второго и т. д., до последнего.

Прошло немного времени — показались хунхузы. Я волновался страшно, впиваясь глазами в крупного хунхуза, ехавшего в самом конце: мне, как младшему, поручено было стрелять в последнего.

Хунхузы беспечно подъехали почти вплотную к нам, изредка перекидываясь отдельными словами. Ветер был от них в нашу сторону, а то, может быть, их кони почуяли бы нас. Наша позиция была отлична: все хунхузы были как на ладони, кроме последнего.

Раздался удивительно естественный крик фазана. Я растерялся было, забыв, что это означает; но вид моего соседа, прицелившегося в кого-то, вернул мне память. Я торопливо приложил щеку к прикладу и стал наводить ружье, но что-то застилало мне глаза. Хунхузы, услышав крик, все по-

вернули головы в нашу сторону; некоторые придержали коней. Раздался второй крик — и страшный залп оглушил меня. Шум, крик, брань, конский топот и застилавший все дым так меня перепугали, что я сполз глубже в рытвину...

Когда через момент я выглянул, то увидел, что мои товарищи вылезли наверх и осматривают лежащие на дороге тела убитых и умирающих. Пятнадцать человек остались на месте, и только шестнадцатый, в которого я стрелял, убежал пешком в кусты, и мы его не поймали. Лошадь же его, раненая мною в ногу, ковыляла на трех ногах и жалобно ржала. Остальные кони разбежались, но недалеко.

Коней скоро переловили, оружие хунхузов и то, что у них было при себе ценного, отобрали, трупы зарыли — и дело с хунхузами, казалось бы, было кончено.

На деле же вышло не совсем так...

Жил у нас в Чао-янь-гоу крестьянин, по имени Фань Лао-эръ. Усадьбы у нас не сгруппированы все вместе, а разбросаны на несколько верст; его же фанза была крайняя, в одном из боковых распадков и в стороне от дороги, так что к Фану очень редко кто заглядывал из наших односельчан. Поэтому никто из нас и не знал, что через несколько дней после столкновения с хунхузами, к Фану пришел его побратим, некто Чжань, с которым Фань лет десять тому назад сделал «кэ-тоу», т. е. заключил братский союз. Вскоре после этого Чжань куда-то исчез, и Фань с тех пор его не видел. Теперь же, когда Чжань вернулся, Фань, согласно китайским обычаям, ласково встретил своего названного брата, и, так как у последнего не было определенной работы, то он поселился пока у Фана.

Как-то утром захожу я к Фану по делу и вижу, что вместе с Фаном на кане сидит какой-то коренастый человек средних лет и ест початок кукурузы. Лицо его как будто мне знакомо; но где я его видел, вспомнить не могу. Я поздоровался с хозяином и гостем, присел на кан и, как полагается, из вежливости спросил гостя:

— Вы, кажется, кушаете бао-эръ-ми? (т. е. початок кукурузы).

К великому моему изумлению, он сердито посмотрел на

меня и ответил:

— Бу-ши, во кэнь му-тоу, т. е. «нет, я грызу дерево»...

Я не понял; но, как младший, не посмел расспрашивать, и, сделав свое дело, вернулся домой. Тут я рассказал отцу о госте Фана и об его странных словах. Отец почему-то встревожился и тотчас послал за нашими двумя соседями, которые оба служили в нашей милиции, и заставил меня повторить рассказ.

Оба гостя также взволновались и тотчас пошли к нашему начальнику, Ли Юнь-си.

Я обратился к отцу за разъяснениями. Отец улыбнулся:

— Да разве ты не понимаешь, что ты обидел человека?

— Как, я? Я ничего не говорил; наоборот, был очень вежлив...

— Ты сказал ему «бао-эръ-ми», т. е. «зерна кукурузы, обернутые листьями», потому что слово «бао» значит обернуть, т. е. спутать, связать чем-нибудь, например веревками. А ты разве не слышал, что хунхузы никогда не говорят неблагоприятных для себя слов, чтобы этими словами не накликать на себя беду, а заменяют их другими, условными выражениями, как было и в данном случае: грызть дерево — это и значит есть початок кукурузы.

— Так, значит, этот человек — хунхуз? — вскрикнул я, пораженный.

— Выходит, что так!

В это время послышались шаги, и к нам в фанзу вошел Ли Юнь-си и оба соседа. Ли расспросил меня хорошенько. Затем, посоветовавшись с отцом и соседями, решил, что, прежде чем принять какие-либо серьезные меры, нужно послать к Фану на разведку.

Выбор его пал на жившего поблизости домохозяина Энь Цзя-ю, человека хитрого и осторожного.

Ли так и сделал: он пошел к Эню и приказал ему отправиться к Фану и разузнать, кто у него живет. Но при этом Ли умолчал о том, что я ему рассказал.

Часа через два Ли, взволнованный, пришел к нам и говорит:

— Удивительное дело! Энь вернулся и говорит, что у Фа-

на никого нет, и никто посторонний в его фанзе не жил.

Отец удивленно взглянул на меня — очевидно, у него зародилась мысль, не выдумал ли я всю историю?

Мне сделалось обидно до слез, и я горячо воскликнул:

— Если Энь ничего не видел, то я найду этого «грызуна дерева». Пойдемте, господин Ли, со мною!

Ли переглянулся с отцом: очевидно мое заявление убедило их в правоте моих слов.

— Подождите, — успокаивал меня Ли, — мы это дело еще проверим.

Ли вышел и, как узнал после, послал к Фану еще другого односельчанина, Хуань Цянь-ю. Но последний пошел не к Фану, а к соседу последнего, Юй Чжэнь-хайю. На вопрос Хуана, Юй Чжэнь-хай ответил, что, действительно, у Фана уже дней десять живет его побратим, некто Чжань.

Всем стало ясно, что дело нечисто со стороны Эня; тут пришлось уже действовать самому старшине милиции. Он собрал нас человек двенадцать милиционеров (ну, конечно, и я был в том числе), и мы все направились к фанзе Фана, но не прямой дорогой а в обход, горами.

Хотя жар уже спал, но все-таки я был весь мокрый, хоть выжми, когда мы взобрались на последнюю сопку, к другой стороне которой вплотную примыкала фанза Фана. Сопка была невысокая, но к стороне фанзы такая крутая, что по ней мудрено бы спуститься, если бы не молодой дубняк-кустарник, прикрывавший бока ее сплошь донизу. Кустарник же прикрывал нас так, что мы добрались до фанзы незамеченными никем из ее обитателей. Если бы Ли повел нас обычной дорогой, то птица, конечно, улетела бы из клетки, потому что спереди фанзы долина была, как на ладони, на добрую версту.

Мы обошли фанзу с обеих сторон и только тогда залаяли собаки. Несколько человек из наших остались на всякий случай, во дворе, а другие, в том числе и я, быстро вошли в фанзу.

Хозяин Фань встретил нас посреди фанзы. Его гость, Чжань, сидел на кане, держа в руках трубку — мы, очевидно, помешали ему курить опий; лампочка еще горела, и

своеобразный удушливый запах наполнял небольшую фанзу.

Ли прямо приступил к делу.

— Кто ты такой? — обратился он к поднявшемуся при его приближении китайцу.

— Моя фамилия Чжань, — дерзко ответил тот.

Теперь только я его внимательно рассмотрел: среднего роста, лет 35, коренастый, с широкой костью — он производил впечатление сильного, решительного человека.

— А ты кто такой, — продолжал он, — что врываешься в дом и даже не приветствуешь хозяина?

Но нашего Ли трудно было смутить.

— Ты мне после будешь читать правила вежливости, а теперь отвечай: кто ты такой и зачем сюда пришел?"

Тогда в разговор вмешался Фань:

— Это Чжань, мой побратим, уже лет десять тому назад мы сделали с ним кэ-тоу.

— А где же он был эти десять лет и что делал, если никто из нас его не помнит?

— Я... я... не знаю, — растерялся Фань и, обратившись к Чжану, спросил:

— Вы где жили это время?

— Ладно, теперь мы сами с ним поговорим, — сказал Ли, отстраняя Хана.

Ли стал обстоятельно допрашивать Чжана, но получал лишь уклончивые или дерзкие ответы.

-- Ну, так ты у нас заговоришь, — сказал рассерженный Ли и приказал положить Чжана на спину на две скамейки так, что пятки его были на одной скамейке, сидение на другой, а средняя часть ног — на весу. Один из наших людей сел верхом ему на нижнюю часть ног, а двое на живот и грудь; руки его связали под скамейкой. Принесли здоровую дубовую жердь и положили поперек на колени Чжана. На концы жерди село два наших милиционера.

Вероятно, боль была очень сильная; но Чжань только бранился и уверял, что он «хороший» человек. Тогда на концы жерди село еще по одному человеку. Несмотря на жестокую боль, Чжань стоял на своем...

Пришлось позвать остальных со двора. Ли приказал еще

двум сесть на жердь — она согнулась под тяжестью трех тяжелых людей на каждом конце; но Чжань продолжал кричать о своей невинности, мешая мольбы с бранью.

Я с ужасом смотрел на пытку — это было мне впервые... Я не понимал, как могут ноги выдержать такой страшный груз.

Наконец, на жердь село еще двое — жердь согнулась почти до полу. Я ждал, что колени несчастного должны в эту минуту сломаться, но Чжань страшно закричал:

— Ху-фэй, ху-фэй! т. е. «я хунхуз, хунхуз!»

Пытка тотчас была прекращена, и Чжана подняли; но в первую минуту он стоять не мог. Его посадили, и Ли продолжал допрос.

Чжань сознался, что он — атаман шайки, возвращавшейся после хорошей «работы» с района реки Мулия, причем им удалось ограбить золотопромышленников. К несчастью, вся его шайка была убита здесь же, в Чао-янь-гоу, и он один спасся. Так как ему некуда было деться, то он вспомнил, что здесь у него живет побратим. Он и пришел к Фану, который, как названный брат, отказать ему в гостеприимстве не мог. Но Фань не имел понятия о том, что он — хунхуз...

— А приходил сегодня сюда Энь Цзя-ю? — спросил Ли.

— Приходил, — ответил Фань.

— Почему же он сказал, что у тебя в фанзе никого посторонних нет?

Фань замялся.

— А потому, — ответил за него Чжань, — что я дал ему золота и просил не говорить обо мне.

— Сколько ты дал?

— Один или полтора лян золотого песку.

— А ну, хозяин, — продолжал Ли, — где вещи твоего названного брата?

Фань, напуганный до смерти сценой пытки и боясь, чтобы его не привлекли к ответственности за укрывательство хунхуза, тотчас указал небольшой узелок, спрятанный в большом ящике под наклепленным на стене изображением богов.

Узелок, хотя и небольшой, был очень тяжел. Когда его развязали, прежде всего бросились в глаза несколько завернутых в бумагу круглых свертков гириньских юань (долларов). Затем в тряпочке было завернуто что-то очень тяжелое: развязали — там оказался золотой песок, фунта четыре.

Наконец, наше внимание привлек совсем маленький узелок из красной дабы, завязанной ниткой, которого сначала мы и не заметили среди вороха оберточной бумаги. Развязали нитку, развернули тряпочку — и увидели две пары золотых женских серег... Но что это? На всех серьгах видны следы крови, а на двух из них, на тонких частях, вдеающихся в уши, присохло по куску чего-то черного, бесформенного...

Все остолбенели. В первый момент я не понял, в чем дело; но затем, как молния, прорезала мой мозг мысль: да ведь это — куски человеческого мяса! Хунхуз, очевидно, не дал себе даже труда вынуть серьги из ушей, а вырвал их вместе с мочками.

Очевидно, эти же мысли пришли в голову и всем нашим товарищам. То, что мы видели, было явление из ряду вон выходящее...

— Э, так ты вот какой хунхуз! — обратился Ли к Чжану: — так, значит, ты можешь оскорбить или убить даже женщину?

Чжань смутился в первый раз и опустил голову.

Дело в том, что в ряду неписанных правил, строго соблюдаемых хунхузами, есть одно, которое ни один из уважающих себя «храбрецов» не нарушит: нельзя оскорблять или обижать женщину. За оскорбление женщины во время пребывания его в шайке (в другое время — это его частное дело) ему грозит со стороны атамана ни больше ни меньше, как смертная казнь.

Вот почему наша страшная находка привела в смущение даже такого злодея, как Чжань. Он больше не промолвил ни слова, когда мы связали ему руки сзади и повели его в пустой сарайчик около дома Ли. игравший роль арестантского помещения. Тут Чжану дали поесть, а затем снова связали покрепче руки и ноги и, приставив часовых, разош-

лись по домам: было уже поздно.

Ли тотчас написал подробное донесение начальнику, жившему в своей деревне Гуань-ли и исполнявшему должность вроде начальника уезда. Гонец, посланный с этим донесением на хорошей лошади, был в пути всю ночь, и на другой же день привез ответ.

Последний был очень короток: «Хунхуза такого-то — казнить».

Итак, нам пришлось взять на себя еще и это неприятное дело.

Чжану объявили об ожидающей его участи. Он ни одним словом не выразил того, что думал или чувствовал. Конечно, он и сам заранее знал, что на другой исход ему надежды нет...

Как полагается в таких случаях, приготовили хороший обед, покормили его, дали выпить водки, а потом угостили даже двумя трубками опия. Я удивлялся, глядя на аппетит и на спокойствие приговоренного к смерти человека.

После обеда связанного Чжана вывели из сарая и повели к реке. Весь отряд милиционеров сопровождал его.

Речка в этом месте не широка, но глубока. Правый, наш берег — обрывистый; а противоположный — более пологий, покрытый галькой и во многих местах заросший травой. Чжана поставили спиной к реке над самым обрывом, под которым было очень глубоко, и решили здесь застрелить его, чтобы труп упал в воду. А чтобы он не всплыл, то к его ногам, к обоим локтям связанных рук и даже к косе привязали по порядочному камню.

Только что мы стали от него отходить, и тот, кому приказано было стрелять, стал заряжать ружье, — как раздался крик кого-то из наших, и затем — сильный всплеск воды: Чжань, не дождавшись казни, сам бросился в воду...

Мы все подбежали к обрыву и нагнулись: быстро бегущие по поверхности струйки не давали возможности проникнуть взгляду в глубь черной воды...

— Ну, теперь все кончено, — сказал кто-то, — можно идти домой.

— Нет, погодите еще, — возразил Ли, и мы остались на берегу, усевшись на землю и обмениваясь мыслями и замечаниями по поводу событий последних дней.

Река плавно катила свои воды; главное течение было у противоположного берега, а середина реки была гладка и тиха.

Прошло, мне кажется, никак не меньше четверти часа. Но вот посреди реки, шагах в сорока пяти от нас вниз по течению, мы заметили на поверхности какое-то движение. Мы стали всматриваться. «Рыба», — думаем...

И вдруг с реки, как раз с того места, мы услышали голос Чжана:

— Ну, если только я уйду, то ни один из вас жив не будет, — и затем следовала сочная брань по нашему адресу.

Это плыл под водою Чжань, выставив над поверхностью только губы и нос. Мы были поражены донельзя, как человек мог быть столько времени под водою и не утонуть...

— Вот вы говорили, что теперь можно и уйти, — сказал Ли Юнь-си, — а вот он вам теперь показал, как от него уходить раньше времени!

Тогда один из наших приложился и выстрелил в то место, где чуть заметно виднелось что-то над водой.

Чжань скрылся совсем под воду, и я думал, что он убит. Но другие разочаровали меня на этот счет и сказали, что при таком положении попасть во что-либо, находящееся под водой, невозможно: пуля непременно сделает рикошет от воды, а под воду не проникнет.

После только мы узнали, что Чжань был замечательным пловцом — он выучился плавать, когда в Мауке ловил морскую капусту для Семенова*. Теперь он бросился в воду, пошел ко дну, развязался там и снял с себя все камни. Какие для этого нужны были выносливость и уменье!

Покамест я раздумывал об этом, прошло несколько минут. И вдруг снова, но уже шагах в двухстах ниже нас по ре-

* Як. Лаз. Семенов, владивостокский купец, прозванный «королем морской капусты».

ке, из воды вынырнул Чжань, и, грозя нам кулаком, продолжал ругаться. По-видимому, он считал себя уже в полной безопасности. Раздались два-три выстрела, поднявшие всплески воды довольно далеко от пловца, что заставило его снова нырнуть.

Тогда один из нас, отличный стрелок, побежал с берданкой вниз по берегу. Пробежав шагов с триста, он остановился за кустом и навел винтовку на реку.

И как раз против него Чжань опять вынырнул чуть не до пояса и снова начал честить нас, грозя кулаком...

За кустом раздался выстрел. Чжань быстро нырнул.

— Попал, попал, кажется, в руку! — закричал стрелявший.

Мы все уже бежали по берегу. Очевидно, Чжань недолго проплывет с раненой рукой и постарается выбраться на берег, чтобы уйти от нас зарослями.

Ли расставил весь наш отряд по берегу на некотором расстоянии одного стрелка против другого, и мы оцепили, таким образом, берег примерно на пол ли (четверть версты).

Расчет Ли оказался верным. Прошло всего несколько минут, как один из наших милиционеров услышал на другом берегу шум скатывающейся гальки. Он присмотрелся и увидел Чжана, который ползком пробирался между редкой травой и невысокими побегами ивняка, пробивавшимися сквозь гальку, покрывавшую откос противоположного берега. Река здесь хотя и глубока, но шириною саженой семь, не больше.

Милиционер крикнул нам:

— Скорей, скорей, он вылез!

Мы все бросились к нему. Ли, опережая меня, крикнул:

— Поодиночке не стрелять — будем стрелять залпом!

Чжань был весь виден, как на ладони. Я видел ясно, что левая рука у него около локтя в крови и не действует. Он все продолжал ползти... Но почему он не вскочил на ноги и не бросился бежать — я до сих пор не знаю; быть может, он очень устал и ослабел от потери крови, или не мог подняться по довольно крутому скату вследствие осыпания гальки

— кто его знает! Но, если он рассчитывал, что мы его плохо видим, то он ошибся...

По команде Ли, грянул залп. Чжань не издал ни звука; но тело его как-то осунулось, и вся спина залилась кровью. Оно медленно перевернулось, сползло по откосу вниз и погрузилось в воду...

Теперь можно уже было идти домой. Никто из нас никогда больше не видел Чжана.

IV

КАЯ Я СДЕЛАЛСЯ ХУНХУЗОМ

Недавно мне пришлось познакомиться с весьма интересным человеком — командиром китайского полка, полк которого славится безукоризненной дисциплиной и отсутствием проступков среди солдат. Это — высокий, худощавый мужчина с симпатичным лицом, которое делается иногда каменным и показывает необыкновенную твердость характера. Вместе с тем, как это ни странно, — он скромнен и даже конфузлив. Хорошо знающие его говорят, что он очень добрый человек, но раб своего слова: что однажды он сказал, — того не изменит. Подчиненные не только боятся его, но уважают и любят.

Я знал, что он — бывший предводитель хунхузов, приглашенный вместе со своей шайкой на службу. Своего прошлого он не скрывает. На вопросы он отвечает скромно, даже застенчиво.

История его представляет один из типичных примеров того, как китайцы делаются хунхузами, как живут и промышляют хунхузские шайки. Поэтому привожу его рассказ почти дословно, опустив только мои вопросы и изменив, конечно, фамилию рассказчика.

— Очень, очень рад с вами познакомиться; чрезвычайно приятно встретить иностранца, говорящего по-китайски!

Моя фамилия Юй, Юй Цай-тунь. Как и большинство моих подчиненных, я родом из Шаньдуна. Теперь мне 37 лет, хотя на вид мне больше — тяжелая жизнь скоро старит. Вы ведь отлично знаете, чем я был раньше; да я и не скрываю этого! Постоянное напряжение, непрерывные переходы, необходимость вечно быть начеку — по пять, по шесть дней невозможно было даже ул переобуть — все это даром не проходит...

Вы хотите знать, как я сделался «независимым», т. е. тем, что вы обыкновенно называете «хунхузом»? — Извольте, я расскажу.

Шестнадцать лет тому назад я, молодой, полный сил и

надежд, пришел из Шаньдуна во Владивосток. Людей у нас на родине много, а земли мало, да и плоха она, рабочие руки ценятся ни во что; а у русских, — так говорили у нас, — каждый китаец с хорошей головой и здоровыми руками в короткое время может составить себе капитал, если только не будет играть в азартные игры или курить опий.

Семья моя была зажиточная, и я пришел не с пустыми руками: я принес с собой около 1000 рублей на русские деньги.

Во Владивостоке я скоро осмотрелся и нашел друзей. Они рассказали мне: одно из самых выгодных дел — лесное. Один из наших шаньдунцев, работавший раньше у какого-то русского на рубке леса по реке Сучану, решил самостоятельно заняться этим делом и присмотрел очень удобное место на речке Си-ча (Сица), впадающей в Сучан. Условия сплава были очень удобны, и дело, несомненно, обещало быть очень выгодным; но, чтобы уменьшить расходы предприятия, было решено платных рабочих не нанимать, — а организовать дело на компанейских началах, причем принимать в компаньоны только тех, которые могут принимать участие в деле не только капиталом, но и личным трудом.

Для начала дела нужно было десять тысяч рублей и не менее десяти человек рабочих. Девять человек, желающие лично работать и внесшие по тысяче рублей, — уже были налицо; не хватало только десятого. Меня уговорили, — и я согласился вступить в эту компанию.

Купили инструменты, провизию, палатки, поехали на Сучан, заплатили лесничему в с. Владимиро-Александровском поденные деньги и отправились на место рубки на Сицу, в верховьях Сучана.

Лес оказался отличный. Распорядитель наш, Чжань Минь-цзѣ, был человек толковый, работающий, но горячий; мы все его слушались.

Дело шло прекрасно, но работа была трудная. Целый день приходилось быть на ногах, в снегу, в слякоти, с топором или пилой; свалишь дерево, нужно его очистить от сучьев, запрячься в веревочные лямки и тащить его через камни, пни и буераки к самой речке. Лошадей у нас не было — слишком

дорого было их покупать. К концу дня иной раз так устанешь, что даже есть ничего не можешь...

Наконец я переутомился и заболел. Тогда один из товарищей дал мне покурить опиума, которого я до тех пор не пробовал. И что же? Болезненное состояние сменилось таким чудным состоянием покоя и прекрасного самочувствия, что я с тех пор пристрастился к опиуму и временами стал курить его неумеренно, — что не мешало мне по-прежнему отлично работать.

Но все-таки я стал замечать, что постепенно я все больше и больше хую, и в то время, когда я курил больше обыкновенного — мне огонь «бросался в глаза». А затем случилось нечто похуже: я стал плохо видеть по вечерам, и, наконец, вечером при огне я уже ничего не видел и даже не мог передвигаться без посторонней помощи.

У меня не было друга, который удержал бы меня, и дело, вероятно, кончилось бы плохо для меня, — если бы неожиданный случай не изменил мою судьбу.

Однажды вечером, после трудового дня, все собрались в нашем шалаше. Мы поужинали, и все готовились к завтрашней работе: точили пилы, топоры, готовили веревки и т. п. Я выкурил несколько трубок, ничего не мог видеть, и поэтому не работал.

Мне зачем-то понадобилось пройти в другой конец шалаша; я пошел, наталкиваясь на других и мешая им работать. Тогда рассерженный Чжань схватил палку и сильно ударил меня по лицу наискось, вот по этому месту — между глазом и носом.

Это меня ударили в первый раз в жизни... Я не скажу, что я почувствовал; но я ни слова не сказал, и пробравшись ощупью на свое место, я лег и пролежал без сна до утра.

С восходом солнца вернулось ко мне зрение. Я встал и стал прощаться с товарищами, говоря, что я ухожу. Те стали уговаривать меня остаться; но я ушел — бросив внесенный мною в дело пай и причитавшиеся на мою долю заработанные деньги, — а их было порядочно.

Пошел я в лес, вглубь в горы, куда глаза глядят. Без денег, почти без платья, без друзей и знакомых, нищий, шел

я по тропе, — сам не зная, куда.

Прошел я, вероятно, верст двадцать и наткнулся на небольшую фанзу в маленькой долинке. Я устал и зашел в нее, чтобы отдохнуть. Хозяин фанзушки, кореец Кимъ Шэнь-мини, встретил меня ласково. Работников у него не было. Я остался у него на день, потом еще на день, а потом и совсем поселился здесь. Но Кимъ был очень беден, и я стал работать у него только из-за хлеба, без жалованья.

Правильная жизнь, работа гораздо более легкая, чем на лесорубе, а главное — отсутствие опиума сделали то, что через месяца два-три я был неузнаваем: ко мне вернулось здоровье, я стал силен, вынослив и прекрасно видел теперь вечером и при огне.

Тогда хозяин сказал, что такому работнику, как я, нужно платить, а ему платить нечем...

А у корейца был прекрасный американский топор с длинной выгнутой рукоятью; я им часто работал и любовался — а в топорах-то я толк знал. Я подумал: а почему бы мне не получить топор в виде платы? Я и сказал об этом хозяину. Тот подумал — и согласился.

Еще целый месяц работал я, пока не заработал себе топор. Но как только я получил его в собственность, я тотчас же попрощался с корейцем — хороший был человек! — и пошел по знакомой уже мне тропе на запад, к Сице.

Вечерело. Вот и наш шалаш. Я направился к нему; — зачем — и сам тогда не знал: толкала какая-то посторонняя сила...

Когда я вошел в шалаш, все наши были в сборе; большинство разделось и отдыхало на кане. При моем входе раздались радостные возгласы: «А, вернулся, вернулся!»

Чжанъ тоже лежал. Но, увидев меня, он дружелюбно поднялся ко мне навстречу. Я, то есть не я, а только мое тело, — с топором в руке подошел к Чжану, и ни слова не говоря, с размаха ударил его топором как раз по тому месту, по которому он раньше ударил меня палкой...

Лицо его развалилось на две стороны, и он без звука опрокинулся на кан. Я ударил его еще раз, и еще третий раз посередине тела и видел, как вывалились внутренности.

Все смотрели не шевелясь, и никто не сказал мне ни слова, когда я спокойно вышел из шалаша и опять, как и в первый раз, пошел куда глаза глядят.

Что мне теперь было делать? Я сделал то, что выбросило меня из общества, людей. В работники мне уже идти нельзя...

Выход был только один: сделаться «независимым».

Встретился я с двумя такими же безработными, которым негде было главы преклонить: один — неудачный искатель женщины, а другой — ловец морской капусты, — и решили промысливать вместе.

Скоро к нам присоединилось еще двое, — и вот мы пятером начали нашу новую работу, выгодную, — но опасную. Старшего между нами не было; мы все пятеро были равны, и все, что получали, делили поровну.

Но я больше не хотел брать на свою душу греха и дал себе обещание: без крайней необходимости не лишать людей жизни.

Дела наши пошли хорошо, но они были все мелкие. Все же слух о нашей храбрости и удаче быстро распространился, и к нам быстро стали стекаться люди, желающие присоединиться к нашему отряду. Скоро у нас набралось уже человек двадцать. Я был выбран ихним «данъ-цзя-эрь» или «данъ-цзя-ди» («руководителем дома», т. е. атаманом). А через год у меня было уже человек двести.

Нужно заметить, что каждая шайка, оперирующая в известном строго определенном районе, обыкновенно подчиняется одному «да-ъ», т. е. главному старшине этого района. Старшина живет на месте, владеет крупной усадьбой или предприятием и в глазах русских или китайских властей (смотря по тому, на чьей территории он живет) является почтенным лицом, о связи которого с хунхузами никому и в голову не приходит. Например, в это самое время главный да-ъ многих шаек, оперировавших около Владивостока, был крупный подрядчик, живший во Владивостоке и находившийся в приятельских отношениях со всеми вашими властями. А на самом деле это был беглый каторжник с Сахалина.

Но я не подчинялся никакому да-ѣ, потому что не хотел ограничивать своей деятельности определенным районом.

Нужно заметить, что избираются предводители из среды товарищей только в маленьких шайках; в крупных же отрядах дело обстоит иначе: предводителем, «дань-цзя-дя», является тот, который вооружает на свой счет всех людей. Фактически он же обыкновенно и формирует весь отряд и является действительным «хозяином» всего.

Таким хозяином был и я, потому что у меня были уже средства для покупки оружия на двести-триста человек. Поэтому вы видите, что величина отряда, а следовательно, и влияние того или иного предводителя, зависит исключительно от его богатства.

Некоторые из предводителей крупных шаек, заняв ту или другую пустынную гористую местность (напр. по границе с Россией), привлекают сюда голытьбу-китайцев или корейцев для разработки под мак плодородной земли в долинах и по склонам гор, — где вырабатывается лучший опиум. Посмотрите на прилегающий к станции Пограничной район по обе стороны границы: он весь похож на сшитое из кусочков одеяло. И все поля этого района или принадлежат таким отрядам, или платят им подать опиумом. Пограничные русские земли, принадлежащие казачьему населению — все сданы в аренду макосеям. А спросите: кто их сдавал или кому платятся подати? Ответ будет один: переводчику такому-то... А русские власти о таком переводчике и не слышали. Часть денег с некоторых полей хотя и попадает к казакам, но значительно большая часть идет предводителям шаек, объявившим свою власть над этой территорией.

Но я, хотя опиум и курю, — но ни возделыванием его, ни захватом опийной земли не занимался.

Добывал же я средства существования для себя и своего отряда обычным, принятым у людей нашего поля, способом. Разузнав через своих агентов о степени благосостояния того или другого богатого человека — купца, земледельца, подрядчика или чиновника, — я посылал ему письмо, в котором вежливо писал:

«Вы, милостивый государь, имеете такой-то доход и та-

кое-то имущество; а между тем, здесь бродит много дурных людей, которые могут вас ограбить или сделать еще что-либо худшее. Поэтому не будете ли вы так добры одолжить нам такую-то сумму; тогда вы можете быть совершенно спокойны — зная, что я вас никому не дам в обиду: для этого у меня достаточно силы».

При этом требуемая сумма всегда назначалась настолько умеренная, что плата ее никоим образом не могла подорвать благосостояния того лица, которому письмо адресовалось.

Я не помню случая, чтобы мне отказывали. И действительно: этих лиц я уже защищал всегда от нападений и поползновений других отрядов, таких же свободных, как и мой. Со своей стороны, я не требовал денег от тех лиц, которые были уже обложены на этот год атаманом другой сильной шайки.

Оперировал я как на русской, так и на китайской стороне, в районе от Сучана до Спасского и от Пограничной до Янь-цзи-гана. Много раз мне приходилось сталкиваться и с войсками, как русскими, так и с китайскими; больше с последними.

Нужно заметить, что между «независимыми хабрецами» существует поверье: если ты без крайней необходимости, т. е. не в честном бою, убьешь человека, то и сам будешь убит; жизнь за жизнь — неизбежный закон. Поэтому я дал себе зарок людей не убивать... И я сдержал обещание: я не только ни одного человека не убил иначе, как в бою, но даже никого не держал в плену. Если же во время боя мне в руки попадали пленные, то я их всегда отпускал без всякого выкупа.

Вот поэтому-то из всего моего первоначального отряда осталось в живых всего три-четыре человека, в том числе и я.

Оперировали мы только летом. Осенью же, с наступлением холодов, почти весь отряд расходился по городам и селениям, чтобы веселой жизнью вознаградить себя за летние лишения, — и лишь незначительное число людей, — кадр отряда, — проводил всю зиму где-либо в землянке или фанзе в глухой тайге.

Это зимовье называется «ди инь-цзы», т. е. земляной лагерь. Туда заблаговременно свозится топливо, готовится необходимый на зиму провиант; там же хранится все оружие, патроны и прочее имущество и боевое снаряжение. Жизнь этих людей бывает всю зиму крайне тяжела и тосклива. Для того, чтобы прожить год, а то и несколько лет в такой обстановке, — необходимы исключительные сила воли и выносливость. До первого снега еще ничего, терпеть можно, потому что свободно можно отходить от зимовья на любое расстояние; но когда выпадут снега и завалят все тропы, — всякое сообщение с остальным миром прекращается совершенно месяца на четыре.

Отапливать помещение, готовить пищу и вообще разводить огонь можно только ночью, чтобы дымом не выдать своего местонахождения. Люди сидят, как в тюрьме, потому что достаточно иной раз одного следа на снегу, — чтобы выдать так тщательно охраняемое местонахождение зимнего становища — арсенала, складов и тайного опорного пункта шайки, — т. е. самого сердца ее. А болезнь, а смерть — помощи ждать неоткуда... Да разве перечислишь все тяжелые случайности и лишения, которые приходится испытывать людям во время такой зимовки? Нужно самому испытать, чтобы понять все. Я провел так три года — и вы видите, что я почти старик, несмотря на мои 37 лет.

Вот почему, главным образом, большую часть отряда приходится распускать на зиму.

Когда же снег стаивал, — весь отряд собирался опять и снова начинал свою деятельность.

Теперь уже девять лет, как я бросил прежнее ремесло. Я получил предложение коммерческого китайского общества поселка при станции П-я работать против других хунхузских шаяк. Я согласился, и таким образом перешел на легальное положение.

Есть у меня искренний друг, также бывший атаман, пользующийся большим влиянием и известностью, по фамилии Лу, Лу Цзинь-тай. Однажды Лу пришел ко мне и просил меня принять от него в подарок большой двухэтажный дом в П. Я долго не хотел брать. Но Лу уговаривал меня:

«Возьми! Быть может, нам еще придется искать зимой крышу для отдыха. Мы братья: ты всегда найдешь пристанище у меня; а я — я хочу быть уверенным, что найду угол у тебя!»

Это был намек на то, что никто из нас не гарантирован от конфискации всего имущества, и в один непрекрасный для нас день каждый из нас может очутиться выброшенным за борт. Лу в это время был уже человеком весьма состоятельным — он был командиром батальона в регулярных войсках, за какую должность он... ну скажем — «пожертвовал на благотворительные дела» всего 10.000 рублей...

Я не мог больше отказываться от подарка, — и сделался домовладельцем. Дом приносит мне около 600 рублей в месяц, — но вы знаете, что я расходую на полк не только все получаемые мною от казны суммы, — но и все деньги, получаемые мною от моего дома... В этом и кроется разгадка личного, как вы знаете, состояния моего полка.

Я обзавелся семьей и жил тихо и смирно до тех пор, пока меня не пригласили формировать полк. Это у нас в Китае обычная система приглашать на службу известных своей энергией начальников вольных отрядов, причем им даются разные места в армии, начиная от взводного командира и кончая генеральским местом. Например, ген. Фань Линь-го был «дань-дзя-ди» еще во время русско-японской войны; а нынешний главнокомандующий северной армией Чжань Цзюнь-чань, никогда не проигравший ни одного сражения и оперировавший когда-то во Владивостоке, и... Да не стоит дальше перечислять, — вы сами знаете. Они ведь тоже прошли через этот этап. Вот почему китайское общество смотрит на нас вовсе не как на нарушителей закона, а как на удалцов, дорожащих своей свободой и не желающих подчиняться властям.

Теперь я обеспечен, пользуюсь почетом, у меня есть семья... Но мне так надоели служебные дразги и интриги с одной стороны, а с другой — так хочется уйти от людей в тихую обстановку семьи и леса, что мне все чаще и чаще приходят на ум слова моего друга Лу, когда он дарил мне дом:

«Быть может, нам еще придется зимой искать крышу...»

В ГОСТЯХ У ХУНХУЗОВ

Наступил 1907 год. Китайская Восточная железная дорога — единственный наш стержень, на котором мы держались тогда в Маньчжурии, — только что стала работать полным ходом. На всех станциях и возникающих около них городах и поселках возводилась масса сооружений, для которых требовалось громадное количество лесу. Лесное дело тогда не было еще сосредоточено, как теперь, в руках двух-трех лесных магнатов, а привлекало к себе массу предпринимателей, и лесные концессии вырастали на разных участках дороги, как грибы.

Наряду с этим в районе дороги появилось множество хунхузских шаяк, из коих многие «кормились» специально от лесных концессий, облагая «податью» не только китайцев-рабочих и рядчиков, — но иногда и самих предпринимателей — русских. (В настоящее время, после ухода русской охраны с дороги, — подобное явление сделалось обычным; но 15 лет тому назад каждый такой случай отмечался, как нечто необычайное.)

Больше всего хунхузы свирепствовали на восточной линии, и между предводителями оперировавших здесь шаяк часто упоминалось имя некоего Фа-фу.

Случайно мне пришлось попасть на станцию Силиньхэ, где, задержавшись дня на три по делам службы, я познакомился с проживавшим там подрядчиком М-о, поставлявшим дороге лесные материалы, — у которого я и остановился. Он оказался бывалым, очень милым и обязательным человеком. Узнав, что я интересуюсь всем, что касается хунхузов, он обещал познакомить меня с очень интересным образчиком этого сорта людей — протестантов против существующего общественного строя.

— Я вас познакомлю, — сказал М-о, — с китайцем, который много лет был атаманом шайки; теперь он уже слишком стар для того, чтобы продолжать свою прежнюю дея-

тельность, — но слово которого и теперь свято для каждого хунхуза всех окрестных шаяек, — а их здесь не одна. Он живет здесь, недалеко от станции, и очень часто бывает у меня. Мы с ним сделались приятелями после одного случая. Китайские власти очень боятся и всячески задабривают его; конечно, они никогда не решатся свести с ним счеты за старые «художества». Наши же власти — им и в голову не приходит трогать его! А если бы и пришла эта несуразная мысль, — то не дай Бог: пропали бы и концессия, и станция, и все здешние русские, и самая дорога была бы здесь перерезана на значительное расстояние!..

Меня крайне интересовал человек, аттестованный таким образом моим хозяином, — что я ему и высказал.

— Хотите, я сегодня же приглашу к себе Фа-фу?

— Как, Фа-фу? Этот хунхуз — Фа-фу, про которого так много говорят?

— Ну да, он самый!

Любопытство мое было возбуждено до крайности, и я стал торопить своего хозяина послать скорей за старым разбойником.

Часа через два меня пригласили к обеду. Я вышел в столовую, и среди членов семьи М-о увидел старого китайца, одетого в обыкновенное китайское, довольно поношенное шелковое платье. Лета его трудно было определить — может быть, пятьдесят, а может быть, и шестьдесят пять. Высокого роста, рябой, худощавый, с редкой растительностью на лице и голове, почти совсем седой, — он представлял собой на первый взгляд обычный тип старого, зажиточного земледельца, который много десятков лет под палящим солнцем и пыльным ветром упорным трудом создавал на земле земное благополучие для своих детей и внуков...

Но когда он поднял голову и я увидел его глаза, — я понял, что вижу перед собою не совсем обычный тип. Глаза его были замечательные: они пронизывали собеседника. Временами они загорались, как у юноши, и выдавали чрезвычайную горячность характера...

Затем, мне бросилась в глаза странная особенность: кожа лица и головы отличалась у него необыкновенной под-

вижностью, и во время разговора она то опускалась вниз, то быстро поднималась вверх; подобное явление я наблюдал первый раз в жизни. И вообще весь он, не смотря на свои годы, отличался подвижностью и порывистостью.

Мы разговорились — он довольно хорошо, хотя и неправильно, говорил по-русски. Старик, державшийся в первый момент сдержанно и даже холодно, чрезвычайно обрадовался, узнав, что я говорю по-китайски; он наговорил мне, как полагается по китайскому хорошему тону, — кучу комплиментов. Под конец обеда, услышав, что я очень интересуюсь жизнью хунхузов, — Фа-фу предложил мне посетить ближайшую шайку.

Я его благодарил, и был действительно искренне доволен; но все-таки в глубине души я чувствовал неловкость: как я, русский офицер, поеду к хунхузам, да еще один, без конвоя? Кто его знает, а вдруг...

Наш хозяин как будто понял мои сомнения и вызвался сопровождать меня. Это меня обрадовало, так как разрешало все сомнения, — и поездка была назначена на завтра же.

На другой день я уже сидел верхом на великолепном сером коне. Рядом со мной ехал М-о на такой же лошади; кони были совершенно парны. Я невольно ими залюбовался...

— Вот бы к нам в батарею эту парочку, — сказал я.

— А что, нравятся? Да, хороши... Но погодите, после я вам расскажу, какое отношение эти кони имеют к Фа-фу!

Проводник наш, мрачного вида китаец с солдатской выправкой, ехал впереди на маленькой, невзрачной, но крепкой мохноногой лошадке. Мы скоро втянулись в лес. Молодые заросли калины, маньчжурской сирени, колючей аралии — «чертова дерева», клена, вяза, тополя и крушины, перевитые кое-где плетями винограда и актинидии, — стали сменяться ясенью невиданной в России вышины и стройности; кое-где сверкала серебристо-серая кора «бархатного дерева» и лапчатые листья колючего диморфана или белого ореха, — самого крепкого из наших деревьев, — отчетливо вырезывались на бледно-голубом небе. Темно-зеленые жидкие верхушки кедров, видневшиеся раньше только по склонам

боковых гор, теперь надвигались к дороге все ближе и ближе, оттесняя другие деревья; и скоро кедр и только кедр обступил нас со всех сторон. Огромные, прямые как колонны, темные и трещиноватые внизу, гладкие и розово-золотистые вверху, стволы могучих кедров как-то сжали, придавили нас. Кедровник поглотил наш маленький кортеж...

Птицы и насекомые, кричавшие и жужжавшие в открытых местах, — теперь все куда-то исчезли. Немая, жуткая тишина действовала на душу и превращала безмолвный лес в какой-то таинственный храм неведомого бога... Сердце расширялось, непередаваемые сладкие ощущения рождались в груди; и больно, и жутко, и сладко, — как будто снова вернулись ощущения далекого детства...

Вам, жителям проклятых людских муравейников, где кипят злоба, политические страсти, ненависть, коварство, измена, где царствует ложь и условность, где нос существует для того, чтобы чуют, откуда дует ветер, где всякого искаателя правды считают идиотом или вредным для «общества» человеком, где всякое искреннее движение сердца осмеивается или обливается потоками гнусной клеветы, где все — предательство и яд, где все отравлено — и любовь, и дружба, и честь — самый воздух отравлен... — нет, вам, несчастным людям, и вам, двуногим скорпионам, — вам не понять, насколько тайга лучше ваших смрадных сумашедших домов, называемых городами, и насколько звери лучше вас самих...

Ах, тайга, тайга, как она хороша!..

Ничто не нарушало тишины, и мы молчали. Даже кони, казалось, бережно ступали по дороге, незаметно превратившейся в тропу, которая постепенно разветвлялась и делалась все уже и незаметней.

Наконец проводник пошел прямо целиной. Мы ехали

за ним гуськом. Но китаец обернулся и попросил нас ехать не по его следам, а враздробь. Это, как я уже раньше знал, была обычная в тайге уловка всех хунхузов для заматывания следов: иначе образуется тропинка, которая выдаст местонахождение фанзы или вообще того места, которое требуется скрыть.

Подобный же маневр, как нам свидетельствует история, употребляли на войне и в набегах маньчжуры, монголы, а также крымские татары при набегах на Русь. Очевидно, это — общепринятый древний азиатский прием.

Через полчаса езды целиной, проводник напал на едва заметную тропинку и поехал по ней.

— Теперь можно ехать вместе, — обратился он к нам, — и мы снова поехали за ним гуськом.

Услышав шорох сзади себя, я обернулся и увидел китайца с ружьем на плече, который шел за нами, замыкая шествие. Когда и откуда он явился, — мы не заметили.

Тропа делалась все торней; в нее вливались другие тропы, — и вдруг она оборвалась у бревна, переброшенного через ручей. Лес отступил, образуя на другом берегу прогалину, посреди которой стояла низкая, недлинная бревенчатая фанза. Перед ней стояли и ходили несколько китайцев.

Это и было становище хунхузов. Нас, по-видимому, ждали, потому что один из китайцев отделился от группы и пошел к нам навстречу.

Переехав ручей вброд, мы слезли с коней и отдали их подошедшему китайцу, любезно нас приветствовавшему. По его указанию мы пошли прямо к средним дверям фанзы.

Перед входом нас встретил высокий китаец средних лет, и чрезвычайно радушно пригласил нас в фанзу, в которой человек пятьдесят китайцев стояли в почтительной позе.

Низкое, длинное, насквозь прокопченное помещение ничем не отличалось от обычного типа китайских зверовых фанз, кроме своей величины. Потолка не было; вокруг стен с трех сторон шли каны, покрытые гаоляновыми циновками. В двух котлах, дымоходы от которых шли под канами, варилась пища. Ряд столбов посреди фанзы поддерживали кровлю. И стены и, столбы, и крыша — все сплошь было за-

копчено до того, что мохнатые грозди копоти свешивались сверху. Исключение составляло оружие: десятка полтора ружей — чистых, блестящих, — висело в одном углу над каном на вбитых в стену деревянных колышках. Казенная часть ружей вместе с затвором была зачем-то обвернута красной тряпкой, засаленной от носки; дула были заткнуты пробкой из такой же материи.

После резкого перехода от яркого солнечного света снаружи к царствовавшему в фанзе полумраку, сначала я с трудом различал детали; но постепенно глаза привыкли, и слабого света, проникавшего через вставленную в квадратные окна промасленную бумагу, оказалось достаточно, чтобы различать малейшие подробности. Тогда я увидел в двух местах над каном замаскированные небольшие двери; очевидно, они вели в секретные помещения, где были какие-нибудь склады. Кроме того, в настиле деревянного пола (пол является редкостью в простых фанзах) виднелись люки, которые вели в подполье.

На левой, почетной стене комнаты (если только это помещение может быть названо комнатой), висело нарисованное яркими красками на большом листе бумаги почти в натуральную величину изображение величавого, спокойного Гуань-ди, народного божества войны. Перед Гуань-ди, называемом также попросту Лао-Ѓ, т. е. «господин», стоял узкий стол с двумя красными свечами в точеных оловянных подсвечниках и бронзовая широкая урна изящной формы с пеплом, в которой были воткнуты «сянь» («ароматы») — курительные палочки: три огненные точки на концах палочек ярко выделялись на общем темном фоне. Своеобразный запах, неприятный для европейского обоняния, носился в воздухе.

Около этой «божницы» стоял квадратный «ба сянь чжо-цзы», т. е. «стол для восьми духов»; но в настоящий момент он был сервирован только на четыре персоны.

Встретивший нас у входа в фанзу высокий китаец оказался атаман; он радушно пригласил меня и М-о за стол и представил нам своего помощника, — который и занял четвертое место.

Началось обычное китайское угощение, о котором я говорить не буду; гораздо интереснее было то, что атаман весьма охотно рассказывал нам о многих хунхузских обычаях, внутреннем строе их жизни и т. и.

Хунхузская шайка образует нечто вроде военного братства, каждый член которого обязан не только абсолютным послушанием своему да-ъ («великому господину»), т. е. старшине, не живущему обыкновенно при шайке, и атаману, находящемуся при шайке безотлучно, но и быть всегда готовым на выручку товарища хотя бы ценою собственной жизни. Дисциплина у них царит образцовая. Проступки крайне редки;слушание всегда наказывается смертью. Ссор между «братьями», как называют себя рядовые хунхузы, — почти не бывает, отчасти, может быть, потому, что присутствия женщин в становище не допускается ни под каким видом. Спиртные напитки держатся в самом ограниченном количестве — только на всякий случай, напр. для гостей. Если кто укажет кому-либо постороннему дорогу в становище, — тот совершит тягчайшее преступление, караемое смертью. Поэтому приглашение нас сюда явилось актом величайшего к нам доверия..

— Вы знаете атамана Юй Дай-туна, по прозвищу Хунь Шуй-цзы? — говорил атаман. — Когда он перестал работать с шайкой на Сучане и поступил на службу к Коммерческому обществу в Пограничной для борьбы с местными шайками, — то однажды ему в руки попался молодой хунхуз, по имени Бао-эръ. Мальчишка не выдержал характера и указал Хуньшуйцзю дорогу к становищу своей шайки, в результате чего шайка была уничтожена. Хунхузы теперь ничего не имеют против Хуньшуйцзы, потому что он честно вел борьбу; но Бао-эръ должен умереть. Чтобы спасти его, Хунь взял его себе в рабы... Да, да, не удивляйтесь! — хотя и редко, но рабы у нас до сих пор существуют, несмотря на запрещение закона, и называются ху-ла-цзы. Жизнь Бао теперь принадлежит Хуню. Если Хунь прогонит его или продаст (он может это сделать), или Бао отдалится от Хуня за сферу его влияния, — то смерть Бао от рук его бывших товарищей неизбежна... Поэтому Бао никогда не отлучается от

Хуня, и вам понятна его преданность своему господину: он его бессменный денщик, слуга, — назовите, как хотите, до самой смерти Хуня: и этот день будет также днем смерти и для Бао...

Так как «независимые храбрецы» существуют в Китае уже тысячи лет, то организация таких военных дружин, освященная веками, почти всегда одинакова. Все шайки определенного района подчиняются одному «да-фъ», который обыкновенно находится не при шайках, а живет в одном из ближайших крупных населенных пунктов. Часто да-фъ живет в городе, имеет для виду то или другое почтенное занятие, напр., бывает купцом, подрядчиком, и т. п.; почти всегда он пользуется большим авторитетом и весом в обществе, — которое и не подозревает, что какой-либо почтенный и всеми уважаемый господин Ванъ или Чжанъ является не кем иным, как полулегендарным Чжанъ Да-га-да, страшным да-фъ рассыпанных за сто верст отсюда хунхузов, о подвигах и удалестве которого между жителями лишь шепотом из уст в уста передаются фантастические рассказы...

Отсюда понятно, почему у хунхузов является такая осведомленность не только о всех богатых людях, торговых оборотах фирм, пересылке денег, товаров и проч., — но и о всех направленных против них мероприятиях властей.

Рядовые хунхузы, особенно недавно вступившие на этот путь, — не знают своего да-фъ в лицо; настоящее же его имя или то, под которым он фигурирует в обществе, — известно лишь немногим привилегированным членам шаек.

Случаи выдачи хунхузами своих да-фъ — неизвестны.

Во главе каждой шайки или дружины стоит «данъ-цзя-эрь» или «данъ-цзя-ди»; у него помощник — «банъ данъ- цзя-эрь»; начальник передового отряда — «пао-тоу», т. е. «пушечный голова»; начальник тылового отряда — «цуй-дуй-ди», что в переводе значит «подгоняющий отряд»; есть два заведующих хозяйством: один при отряде, наз. ли-лянъ-тай, «внутренний интендант», и другой — вай-лянъ-тай, «внешний интендант», находящийся вне расположения отряда, роль которого — делать закупки и заготовки. Делопроизводство поручается цзы-цзянь-у, т. е. «письменному мастеру».

Остальные, рядовые товарищи, называются дань дп-сюнь-ди, т. е. «(являющиеся) братьями».

Конечно, в известных случаях отряд выставляет часовых, которые называются кань-шуй-ди, т. е. «смотрящие за водой»; для проверки часовых и дозоров есть определенное лицо, — лю-шуй-ди, т. е. «обтекающий воду».

Настоящих фамилий и имен как предводителей, так и рядовых «братьев» почти никто не знает; всем известны лишь их хунхузские прозвища. Напр. Фа Фу, «приносящий счастье», это — прозвище; имени же его никто не знает... Прозвище мое, дань-цзя-ди этого отряда, — Шунь бао, «послушная драгоценность»; прозвище Юй Дай туна, о котором мы уже говорили — Хунь шуй-цзы, «мутная водица», и т. д...

Операции своей шайка никогда не производит вблизи своего местожительства, а всегда в более или менее значительном отдалении от него.

Дележ добычи производится с соблюдением строжайшей справедливости по числу падающих на долю каждого «людских долей». При этом дань-цзя-эрь получает десять долей; бань-дань-цзя-эрь — пять долей; «письменный мастер» — три доли; остальные начальствующие лица — по две доли, а «братья» — по одной доле. Число людей в шайке считается именно исходя из этого расчета, т. е. считается обыкновенно число долей, а не людей. Поэтому фактически численность шайки всегда человек на двадцать меньше, чем считается.

Для того, чтобы «братья» могли объясняться между собою и окружающие не могли бы их понять, они употребляют свой особый язык. Напр. выражение бань хай-эрь, — «переносить море», — означает «пить». Цао-фу, «наклонить счастье», — есть; цяо, «стучать, барабанить», — идти; фу-цзы, «зазада», или то, что повторяется на пути, — гора; сянь-эрь, — «ниточка» — дорога; бай-тяо-эрь, «белая полоска», — дождь; ча-пэнь-эрь — «белить палатку» — пасмурный день; ло бай-тоу эрь, — «опускается белая голова», — идет снег; чэнь тяо-эрь, — «воспользоваться полоской», — спать; хэнь дао-цзы, — «поперечная дорожка» — река; динь тянь-эрь, — «верхушка неба», — шапка; ь цзы, — «листва», — куртка; дэнь кунь-

цзы, — «наступить на пустоту», — надевать шаровары; тигу-цзы, — «толкатели земли», — улы (обувь); лунъ яо, — «приблизиться к яме», — войти; пiao-янъ-цзы, — «плавунцы», — пельмени; банъ-пiao, — «связанный билет», — пленник; фанъ-чжанъ-цзы, — «перевороченные листы», — лепешки; хэй мао-цзы, — «черная шерсть» — свинья; шень дянъ-эръ, — «звучащая (или возвышенная) точка» — собачий лай; тiao-цзы, — «полоса» — ружье; чжанъ-чжо, — «клеить» — держать; хуа, — «скользить», — уходить; гуанъ-цзы, — «блеск», — большой нож; шунъ фу-цзы, — «послушное данное в руки», — палочки для еды; и т. д. Для всех отправлений человеческого организма существуют также свои обозначения, — иногда весьма остроумные.

Сами себя они никогда не называют «хунхузами», тщательно избегая даже произносить входящие в это название отдельные слова (хунъ, ху). Они заменяют их другими словами, а то просто вместо произнесения слов «хунъ» или «ху» дотрагиваются до своих усов или верхней губы, намекая этим жестом на растительность на лице («ху-цзы»). В случае, когда этого выражения нельзя избежать, — они называют себя — «ху-фэй»...

О многом бы еще хотелось расспросить любезного хозяина, но нужно было торопиться домой.

Мы распрощались, уехали верхом на наших коней, которые оказались выкормленными, и двинулись назад в сопровождении того же проводника.

Я задумался, анализируя свои впечатления.

— Ну что вы скажете о хунхузах? — прервал М-о мои размышления.

Я поделился с ним моими мыслями.

— Теперь я расскажу вам то, что обещал, — продолжал М-о, — и это, быть может, дополнит то представление, которое вы составили себе о хунхузах.

Я чувствовал, что услышу нечто не совсем обыкновен-

ное, и поэтому весь обратился в слух и внимание.

— Познакомился я с Фа-фу, — продолжал М-о, немного помолчав, — вскоре после моего приезда сюда. Податью он меня не облагал, — хотя этим меня раньше пугали некоторые мои знакомые, когда я собирался ехать сюда.

Я несколько раз приглашал Фа-фу к себе обедать. Однажды после обеда он обратился ко мне на своем русско-китайском языке, который все мы здесь употребляем в сношениях с китайцами:

— Ну, капитана, теперь тебе хочу — положи стол наверху шибко много золота; окошко совсем открывай два-три солнца — бойся нету; один копейка пропади нету!

— Почему так? — спросил я, улыбаясь, приписывая его экспансивное состояние сытному обеду и двум-трем рюмкам подогретой китайской водки, от которой старик не отказывался.

— Почему? Потому, теперь тебе, моя — игэянь братка!

Особенного значения его словам я не придавал; но все-таки был доволен тем, что лесные работы шли, как по маслу, без всяких задержек со стороны хунхузов.

В это время мне удалось приобрести вот этих двух серых коней. Правда, хороши? Я ими очень дорожил...

Однажды утром меня разбудил испуганный конюх и доложил, что «обоих коней свели!».

Огорчило это меня ужасно, и я тотчас разослал своих людей во все стороны в поисках за конями. Но розыски не привели ни к чему: кони как в воду канули...

Долго я прикидывал и так и этак, — кто бы это мог сделать? И решил, наконец, что это — работа хунхузов.

Дня через три встречаю своего «друга» Фа-фу и говорю ему:

— Как же ты уверял, что у меня ничего не пропадет? Вот, твои хунхузы увели у меня лучших коней!

Фа-фу так и загорелся:

— Мои? Мои хунхузы? Никогда ни один хунхуз не посмеет ничего у тебя взять! Это твои, русские, увели твоих лошадей!

Чрезвычайно обиженный, Фа-фу ушел. Такая уверенность

поколебала меня. Я продолжал розыски на линии, посылал не только на ближние, но и на довольно отдаленные станции, во все поселки, ко всем подрядчикам — словом, всюду, куда только могли угнать коней, — и все напрасно; лошадей никто не видал...

Прошло еще дней пять. Я с грустью решил, что мне уж не видать моих серых.

Вдруг однажды под вечер ко мне без доклада входит Фа-фу прямо в кабинет, чего он раньше не делал, — мрачный и взволнованный, и говорит:

— Твои кони нашлись! Оставь на ночь конюшню открытой, засыпь овса, приготовь сена и жди; только не смотри!

Я не успел и рта раскрыть, как он уже исчез. Оставалось только выполнить его указания. Конюшню вечером оставили открытой, задали корму и стали ждать...

Все было тихо и спокойно, и мы легли спать, ничего не дождавшись.

Рано утром ко мне в комнату опять прибежал конюх и разбудил меня криком:

— Хозяин! Коня есть! Коня есть!

Я спешно оделся и вышел в конюшню. Действительно, оба коня, хотя и с подобранными животами, но здоровые, стояли в стойлах и ели овес.

Удивленный всей этой историей и весьма довольный таким ее концом, я вышел из конюшни. Откуда ни возьмись — Фа-фу. Глаза его так и горели; он весь был как наэлектризованный.

— Есть у тебя ружье? — набросился он на меня.

Я недоумевал.

— Есть, — говорю, ты сам его у меня видел.

— Бери ружье!

— Подожди, — говорю, — Фа-фу, скажи, в чем дело?

— Бери ружье и идем!

— Куда и зачем?

— Идем! Дорогою расскажу!

Я пожал плечами, сходил за винтовкой и вышел к нему. Он так быстро зашагал, что я едва поспевал за ним.

— Ну, в чем же дело? — снова спросил я.

— А вот в чем: ведь ты был прав! В ближайший отряд поступили недавно двое молодых людей. Эти мерзавцы самовольно, не только без ведома дань-цзя-ди, но даже не сказавши никому ни слова, свели твоих коней и припрятали их в тайге. Негодяи даже не потрудились узнать, что ты — мой друг! Идем скорей — они за этой горкой стоят и ждут, чтобы мы их расстреляли!

Я был поражен. Можно было ожидать всего, только не этого... Я всячески стал уговаривать его бросить это дело.

— Ведь лошади нашлись, — убеждал я его, — и мне больше ничего не нужно: я вполне удовлетворен!

— Ты не понимаешь, — возражал он мне, — здесь два дела: в одном — они виноваты перед тобой, и ты можешь их прощать или нет — это твое дело. А в другом они виноваты передо мной, и я не могу им простить!

Долго я уговаривал его; и, наконец, он сдался только тогда, когда я сказал, что смерть этих людей отравит мне всю жизнь — я буду считать себя виновником их гибели.

Каюсь, в это время у меня мелькнула мысль: а что, если Фа-фу разыграл со мною комедию, и никаких хунхузов, ожидающих расстрела, за горкой нет? А если, быть может, и были раньше, то неужели же они не убегут, а, как бараны, будут дожидаться своей смерти? Или, быть может, их караул там конвой?

Эти мысли заставили меня продолжать путь к горке — благо, она была совсем близко, шагах в пятистах. Мне страшно захотелось убедиться, правду ли сказал Фа-фу, или обманул меня; а, быть может, он и сам обманывается, заблуждается, так сказать, добросовестно относительно крепости своей моральной власти над хунхузами?

Вот мы уже на горке. У меня сильно бьется сердце от ожидания. Сейчас откроется противоположный склон, и...

Двое хунхузов, без всякого конвоя, безмолвно сидели на земле в нескольких шагах один от другого, охватив колени руками. При виде нас, они вскочили и вытянулись, очевидно, считая, что настали их последние минуты...

Фа-фу грозно сказал им что-то по-китайски. Те сначала взглянули на него с недоумением, видимо, боясь услышать-

ся; но после вторичного приказания — стали на колени, поклонились несколько раз в землю в сторону Фа-фу и мою, повторяя: «Да-Ъ, да Ъ!» А потом встали и быстро пошли по направлению к лесу.

Когда они скрылись, Фа-фу обратился ко мне:

— «Твоя сердися не нада, моя шибко виновата!»

Затем попрощался и ушел в ту же сторону, куда ушли и его хунхузы.

После этого я долго опасался за участь этих людей; но другие китайцы меня уверили, что Фа-фу не наложил на них никакого наказания сказав, что я взял с него слово не наказывать их. Это обстоятельство, конечно, подняло мой авторитет среди хунхузов и сделало их, пожалуй, на самом деле моими друзьями. С этого времени я действительно верю, что ни один из них не сделает мне ничего дурного.

М. кончил свой рассказ. Долго мы ехали молча, и я думал: чем эти хунхузские шайки, в сущности, отличаются от наших прославленных и опоэтизированных рыцарских орденов в проявлениях их обыденной жизни? Грабившие, бесчинствовавшие, пьянствовавшие, развратничавшие тамплиеры или иоанниты и другие им подобные ведь только прикрывались высокими идеями — освобождением Гроба Господня, защитой справедливости, сирых и угнетенных, — и т. и.; а у хунхузов нет этого щита, этой ложной вывески! Если же сравнить последних с Ливонским или Тевтонским орденами, творившими невероятные ужасы, — то хунхузы по сравнению с ними явятся совершеннейшим братством, преисполненным в своих действиях идеалами полной любви, милосердия и истинного рыцарства...*

* Дальнейшая судьба героев этого рассказа мне неизвестна. Если кто интересуется ею, — пусть обратится к М-о, который и по сейчас живет на станции Эхо. **II. III.**

VI

НАГРАДА

Это было в 1918 году, — когда незначительные силы, сгруппированные в Маньчжурии около генерала Хорвата, — были двинуты в Южно-Уссурийский край. Но, встретив со стороны своих «союзников», главным образом чехов, препятствие к дальнейшему продвижению к Никольск Уссурийскому, войска эти принуждены были задержаться на продолжительное время в районе ст. Гродеково. Одна из этих частей, третий туземный стрелковый полк, расположился на разъезде Таловом.

Здесь и произошел характерный случай, рисующий отношение хунхузов к людям, нарушившим свой долг.

Двое из нестроевых китайцев 12-го августа ночью бежали из полка, украв у своих товарищей солдат два ружья, аммуницию и патроны. С этой добычей, так дорого ценимой хунхузами, они спешно направились на запад, в горы, чтобы присоединиться к одной из многочисленных хунхузских шашек, оперировавших уже много лет в районе Санчагоу-Пограничная.

Этот район всегда был настоящей хунхузской областью; на русской стороне, по сю сторону границы, это было не особенно заметно, потому что здесь у хунхузов почти не было никаких интересов, — но зато на китайской, западной стороне границы, китайское начальство ничем не проявляло своей власти: здесь полными хозяевами были хунхузы. Здесь было их царство со своеобразными нравами, обычаями и законами, и никто, без разрешения хунхузов, не мог показаться в запретной зоне.

Вот сюда-то и направились двое беглых, после строгой полковой дисциплины заранее предвкушая все прелести при-

вольного хунхузского житья. Они знали, что за ними непременно будет послана погоня; но они так были уверены, что в лесу да в горах никто их не поймает, — что не особенно торопились.

К тому же винтовки и двойной комплект патронов так отдавили плечи, что они частенько садились и отдыхали.

В это время одна из хунхузских шаек задумала напасть на китайский поселок при станции Пограничной. Но, опасаясь близкого присутствия значительных русских отрядов и не надеясь на свои силы, атаман этой шайки решил привлечь к этой операции несколько других шаек этого же района. Для вырешения условий соединения сил и выработки плана нападения, все главари шаек собрались вместе и держали совет в одной «импани». Импань, выстроенная в горах из дикого камня, представляла собою настоящую крепостцу с башнями, бойницами и даже наружным рвом. Импань эта служила обыкновенно резиденцией одному из «даньцзя-ды» (атаманов) и прекрасно охранялась.

13-го августа охрана импани была еще усилена; вокруг ее каменных стен на расстоянии шагов трехсот была расставлена цепь часовых. Каждый человек цепи стоял или у толстого дерева, или у куста, скалы и т. п. прикрытия, так приноровляясь к местности, что его нельзя было заметить даже на близком расстоянии.

Беглые солдаты как раз и попали на эту цепь, не заметив ее. Часовые сначала пропустили их, а потом... Каркнул ворон, закудахтал фазан, — и не успели беглецы опомниться, как они стояли под направленным на них в упор дулом ружья, а двое дюжих китайцев с ленточными патронташами, надетыми через плечи, вязали им за спиной локти. Через минуту их уже вели во двор импани.

Там, в тени единственного на дворе старого дуба, сидели на корточках десять главарей шаек, покуривая маленькие трубочки с длинными чубуками. Все внимательно слушали спокойную, но внушительную речь одного из них, «председателя» этого совета...

Хотя в импани было сотни две хунхузов, но около предводителей не было ни души; рядовые хунхузы все держа-

лись в почтительном отдалении.

«Начальство», по-видимому, нарочно совещаюсь о важном деле на открытом месте, а не в фанзе, чтобы их не подслушали стены.

Тихих речей предводителей не мог слышать даже часовой, спрятанный в густой листве на вершине дуба, — только потому и не срубленного китайцами, что он служил вышкой для караульных.

Движение и говор в стоявшей поодаль толпе привлекли внимание совещающихся. Они подняли головы и увидели, что через открытые настежь ворота вошли несколько караульных, бывших в цепи, и привели с собой двух китайцев в форме русских солдат, со связанными назади руками. У каждого конвоира было по два ружья — одно свое, трехлинейка, а другое — мексиканка, отобранная у солдата.

По знаку председателя, солдат подвели к нему и развязали им руки.

Главарь пытливо осмотрел их и затем спросил:

— Кто вы такие?

— Мы — кашевары 4-ой роты 3-го туземного русского полка, — бойко и даже весело отвечали беглецы, оправившиеся от первого смущения и уверенные, что они будут здесь желанными гостями. Еще бы! Они ведь принесли ружья и патроны, так трудно достающиеся хунхузам, и которые поэтому платят за них бешеные деньги...

— Зачем вы сюда пришли? — продолжал допрашивать хунхуз.

— Мы бежали сюда для того, чтобы поступить к вам на службу; мы для вас нарочно и ружья взяли у товарищей, да и патронов побольше прихватили!

Председатель презрительно усмехнулся:

— Ну, хорошо, положите патроны сюда!

Солдаты сняли патронные сумки и патронташи, повешенные на груди крест-накрест и на поясах; отстегнули ножевидные штыки в ножнах, положили все на землю и отошли немного в сторону, довольные собою.

Видя, что совещание прервано, все хунхузы сбежались смотреть на эту сцену, и даже часовые, приведшие беглецов,

еще не ушли на свои места, а стояли и глядели, что будет дальше.

— Сколько времени вы служили у мао-цзы? (т. е. косматых, — так пренебрежительно китайцы называют русских), снова спросил главарь.

— Один месяц!

— Достаточно было тридцати дней жизни у янь-гуй-цзы (иностранных чертей), чтобы вы переняли у них иностранные нравы, обычаи и взгляды... Очень хорошо!

Солдаты были рады, что их хвалят; они улыбались и кланялись.

— Да, — продолжал хунхуз, — у вас даже душа переменилась! За это вы получите награду... Развяжи улы и вынь веревку, — обратился предводитель неожиданно к одному из стоявших тут же хунхузов.

Последний тотчас, ничего не спрашивая, исполнил это странное приказание и вынул длинную, тонкую, но крепкую веревку из оборок остроносых «ул» — своеобразной обуви, являющейся обычной обувью хунхузов.

(Улы делаются из одного куска толстой дубленой некрашенной кожи, которая свертывается по форме ступни; сверху пришивается еще небольшой треугольный кусок кожи. По верхнему краю ул делается несколько разрезов, в которые пропускается тонкий ремешок; за эту оборку протягивается крепкая бечевка. Улы бывают двух видов: круглоносые, которые носят землеробы, и остроносые, которые надевают хунхузы, охотники и т. п., — вообще те люди, которым приходится много ходить по лесу и по траве; они не так задерживают движение, как тупоносые улы).

— Если вы были такие негодяи, — продолжал предводитель при сразу воцарившейся тишине, — что бежали из своей части, забыв данное вами обещание, да еще украв ружья у товарищей и тем подвергнув их ответственности по всей строгости русских военных законов, — то вы и нам при случае можете легко изменить. Нам таких мерзавцев не надо!

И, обратившись к своим людям, сказал:

— Повесить их!

Обоим солдатам, не протестовавшим ни одним словом,

ни одним движением, накинули на шеи веревки от ул и тут же повесили обоих на нижнем суку караульного дуба.

Все население импани тесным кольцом окружило дуб и группу действующих под ним лиц. Для всех это было и зрелище, и показательный урок...

— Ну, а теперь, — продолжая предводитель, обращаясь к кому-то, стоящему в воротах позади толпы хунхузов и незамеченному ими, — подойдите сюда!

Все обернулись и увидели несколько смущенных солдат-китайцев с ружьями — это была погоня, посланная за беглецами из роты.

Бежавшие солдаты не раз среди своих друзей восхваляли хунхузское житье-бытье и сожалели, что они нанялись в солдаты, а не пошли в хунхузы. Поэтому, как только открылся их побег и то, что одновременно с этим пропали винтовки и патроны, — один из взводных командиров, сам бывший раньше хунхузом, — сразу догадался, в чем дело. Прекрасно знавший здешнюю местность, он направил назначенных для погони людей прямо на хунхузскую импань, которой, по его мнению, беглецы никак миновать не могли. И он, как оказалось, был прав...

Солдаты подошли к импани как раз в то время, когда часовые привели беглецов, и поэтому свободно прошли до ворот импани и видели все, что там происходило.

Никто из хунхузов, увлеченных происходившей перед ними сценой, не видел их; и только зоркие глаза предводителя, изощренные постоянной бдительностью в течение целого ряда лет занятий опасным промыслом, — тотчас заметили появление новых лиц.

Хунхузы расступились, и смущенные солдаты, держа ружья в руках, вступили в центр замкнувшегося за ними живого кольца. Тяжело было у них на душе: они были уверены, что их ждет участь их бывших товарищей.

Предводитель отлично понимал, какие мысли и чувства гнетут солдат.

Он улыбнулся и сказал:

— Возьмите ружья, патроны и амуницию этих изменников и сегодня же, слышите? — сегодня же возвратите их ва-

шему ротному командиру, и расскажите ему все, что вы видели!

Солдаты не верили своим ушам. Остолбенелые, разинув рты, смотрели они на грозного хунхуза, так легко игравшего жизнью и смертью окружавших его людей.

Вторичное приказание привело их в себя. Они, сделавшие уже почти без отдыха верст тридцать, тотчас пустились в обратный путь, чтобы точно выполнить приказание «хунхуза».

И, хотя им пришлось нести лишние ружья и патроны, — но почему-то ноша эта не казалась им тяжелой, и обратный путь был легче, чем передний...

В тот же день все унесенное дезертирами было возвращено ротному командиру. Тотчас не только между русскими солдатами, но и между офицерами пошел слух, что «хунхузы испугались нас и поэтому не посмели взять себе наших ружей».

Караульный дуб, оскверненный прикосновением изменников, по приказанию предводителя хунхузов был срублен, и от него теперь остался только широкий пенек.

VII

МАНЬЧЖУРСКИЙ КНЯЗЕК

Далеко-далеко на северо-востоке, где-то за морем Бохай, находится неведомая, чудная, сказочная, — но и страшная страна Маньчжурия, откуда вышла наша священная династия, — да хранят ее боги!

Высокие горы вздымаются к небу; в одной из них на самой вершине, в глубоком провале, есть озеро, на дне которого живет князь-дракон, в громе и молнии взлетающий иногда на небо... Из других гор иногда вырываются столбы пламени, расплавленные камни как вода текут вниз, все сжигая на своем пути, и густая тьма, вырвавшись тучами из недр горы, — черной адской сажей оседает вниз и покрывает землю на сотни ли (верст)...

Горы покрыты непроходимыми лесами, и в этих лесах растет таинственная волшебная трава орхой-да или жэнь-шэнь, способная влить новую жизнь больному телу. Но горе тому смельчаку, который, целыми месяцами разыскивая волшебный корешок и, наконец, найдя его, — бросится тотчас вырывать его из земли, забыв от радости, что сначала следует помолиться и возблагодарить духов гор и владыку здешних мест — грозного амба-лао-ху! Тотчас неведомо откуда появится страшный лао-ху (тигр) со священным иероглифом — «вань» (князь) на лбу, и... никогда уже никто из смертных не увидит больше на этом свете несчастного искателя корней.

Но если счастливцу удастся добыть хотя бы два-три корешка в лето, — ему больше ничего не нужно: он может продать дороже, чем на вес золота... конечно, если не попадется в руки надсмотрщиков, потому что выходить на опасный промысел без особых билетов — нельзя: все добытые корни следует сдавать нашим милостивым фу-му-гуань, — «отцу-матери подобным начальникам». Если же вышел без разрешения и попался — ну, так лучше было бы уж с тиг-

ром встретиться!

Вот почему многие, живя в лесу, корней не ищут, а бьют зверя или добывают его ловушками и ямами. А лучше маньчжурских лесов и на свете нет! Если же удастся еще добыть в лесу несколько пар молодых рогов оленя или изюбря, то больше и желать нечего: рога (панты) вместе с жэнь-шэнем дают такое лекарство, которое умирающему жизнь возвращает, старца в юношу превращает.

А в реках, полных рыбы, водятся раковины, в которых можно найти жемчужины с палец величиной.

А золото, золото?.. Нигде нет столько золота, как в горах Маньчжурии!..

Но всеми этими богатствами владеют духи и оборотни, и нужно обладать закаленным телом, бесстрашной душой и знать заклинания, чтобы вырвать клад из таинственных мест и самому не погибнуть.

Только местные охотники-маньчжуры, олонцунь, хэчжэ, фьяка и удэхэ не боятся ни духов, ни зверей. Они знают, что Эндури, небесные божества, — добры и милостивы, но в дела людей почти не вмешиваются; Онку, бог леса, — зла человеку не делает. Но нужно беречься горного бога, тонконового великана Какзаму, чтобы он не превратил беспечного охотника в камень, да болотного беса Боко, горбатого, одного и однорукого карлика. Но страшнее всех — Окао, птица с железным клювом, зубами и крыльями, которая с быстротою молнии носится по миру... Охотник грома не боится: то — Анды, благодетельный дух — змей с лапами и крыльями, изрыгающий изо рта пламя, который отгоняет от охотника страшного Окао...

Охотники — местные жители, они умеют благодарить добрых духов и умиловать злых; а зверь — зверь не страшен: они знают, как его нужно встретить!

Но зато как тяжело приходится тем несчастным, которые за действительное ли преступление, или просто вследствие интриг, попадают сюда в ссылку! Хотя говорят, что на Дальний Запад ссылают еще дальше, но оттуда люди возвращаются, а из Маньчжурии — никогда.

В первой половине прошлого столетия, в губернии Шань-си, в семье почтенного, всеми уважаемого горожанина, по фамилии Хань, родился мальчик.

Рождение мальчика — радость для семьи, потому что только старший в роде мужчина имеет право и обязан приносить жертвы предкам; неимение мужского потомства — очевидный знак немилости богов. Души предков ведь живут на том свете почти совершенно такой же жизнью, как и живые люди; лишенные жертвоприношений, они могут причинить тысячи бедствий живущим на земле.

Ну, а девочка в счет не идет: она выйдет замуж непременно в чужой род и будет служить ему, а не своим предкам.

Маленький Хань рос в обычной обстановке зажиточной китайской семьи, окруженный вниманием и заботами, без баловства.

Но с самых малых лет мальчик отличался шаловливостью и слишком большой долей самостоятельности. Во всех играх и шалостях с соседскими детьми, он неизменно являлся коноводом. Особенно любил он играть в войну. И удивительно: ему беспрекословно повиновались мальчики значительно старше его самого...

Постепенно игры и забавы теряли невинный характер, и на маленького Ханя со всех сторон стали слышаться жалобы. Никакие уговоры и даже наказания со стороны родных не действовали, и отец всю надежду на исправление сына полагал в учении, — благо, уже пришло время...

Мальчика послали в школу.

Учился он недурно, но вел себя так, что учитель, перепробовав напрасно все меры наказания, — обратился к отцу шалуна с просьбой взять мальчика из школы, потому что тот успел взбунтовать всю школу против учителя.

Пришлось взять отдельного учителя и учить мальчика дома.

Сначала дело пошло, как будто, лучше; но потом шаловливая натура мальчика взяла верх. Он стал так держать себя по отношению к учителю, что последний отказался от выгодного места в доме Ханя.

Целый ряд учителей сменился, но все они уходили вследствие nepозволительных шалостей мальчугана, — и наконец никто уже не хотел учить молодого повесу.

Между тем время шло, и мальчик превратился в юношу. Характер его не переменялся, но вместе с возрастом увеличивался и масштаб его шалостей: шайка сорванцов, набранная им, не давала покоя мирным обывателям. и дело кончилось тем, что в конце концов молодому Хань Сяо-цзунь пришлось столкнуться с уголовными законами...

Отец отказался от сына, погубившего репутацию семьи, и с этого момента юноша исчез. Никто на родине больше его не видал.

Далеко в глуши Восточной Маньчжурии, на самой границе с Кореей, высится священная гора Букирн (Бай-тоу-шань), на которой от небесной девы Фэкулэнь родился — Ионшонь Айжинь-Гиоро, родоначальник последней маньчжурско-китайской династии. На вершине горы находится в кратере глубокое озеро Тамунь (Тянь-чи), из которого, прорвав край горы, каскадом вытекает река Намняха, впадающая в Эрь-дао-цзянь.

С отрогов той же горы берут начало реки Айху и Сайнь-ноинь, которые, захватив еще по дороге речки Лоху, Нархунь и Нитака, — образуют реку Тоу-дао-цзянь.

Большинства этих названий на карте не найдете: все маньчжурские названия заменены китайскими; и только охотники, бродя по зверовым тропам и «продавая» их один другому вместе с зверовыми зимовьями (дуй-фань-цзы), ловушками и заборами, в которых местами вырыты ямы (лу-цзяо), — всегда придерживаются старых названий, освященных и закрепленных в памяти охотников веками.

Тоу-дао цзянь (река первого пути) и Эрь-дао цзянь (река второго пути), слившись вместе, образуют уже крупную реку, носившую в старину название Сумо-хэ или Сумо-я-цзы-хэ, а теперь — Сунгари, т. е. Молочная дорога; китайцы же,

не знающие маньчжурского языка, перекрестили ее в Сунь-хуа цзянь, т. е. река соснового цветка.

Недалеко от слияния Тоу-дао цзяна и Эр-дао цзяна, под самым перевалом Цзинь-инь-бэй линь (Золотого лагеря северный перевал), в Соболиной пади (Дяо-пи-гоу), один охотник случайно нашел в ручье золотой самородок. Весть об этом быстро разнеслась; масса приискателей, а то и просто «вольных удальцов» со всех сторон стала стекаться сюда, — и вскоре в Дяо-пи-гоу кипела лихорадочная, но беспорядочная работа.

Охотники, конечно, могли бы оспаривать свое право на счастливое место; но, с одной стороны, настоящий охотник никогда не делается приискателем, а с другой — шумная жизнь прииска распутывает зверя, — а за зверем уйдет и охотник...

Как бы то ни было, ничто не мешало бы быстро растущему прииску нормально развиваться, если бы не собственные неурядицы. Каждый работал где и как хотел; пласт вскрывался как попало, выработанные отвалы заваливали соседские участки или нетронутую поверхность. Происходившие на этой почве ссоры, драки и даже убийства были обыденным явлением; а вопрос о пище становился иногда весьма острым.

Много времени прошло, пока, наконец, в приисковой общине наладился известный порядок. Вся власть была вручена трем wybranым пожизненно самым старым приискателям; в известных случаях им, по обычаю, принадлежало право жизни и смерти. Они были и судьи, и законодатели, и священнослужители, и горные инженеры...

В общем, жизнь общины была весьма тяжела. Своего хлеба не было; приходилось ходить за ним, потому что лошадей не было, и приносить понемногу издалека. Женщин, конечно, не было, как и во всех таких «вольных» республиках, и поэтому значительная часть рук отвлекалась на хозяйственные и домашние работы. А хуже всего было то, что когда приходилось сбывать намытое золото и покупать одежду, инструменты и прочие предметы, необходимые в их несложном быту, — то приходилось ходить в более населенные пункты,

где было кому продать и у кого купить. Ближайшим же таким пунктом был Гуань-гай, верстах в восьмидесяти... Купцы, зная, с кем они имеют дело, продавали им товар втридорога, а золото брали за полцены. Жаловаться было нельзя: приискатели были на нелегальном положении, и всякая жалоба влекла бы за собой, во-первых — конфискацию всего имущества, а во-вторых — тюрьму и палки, а то и кое-что похуже...

Однажды в эту общину пришел молодой человек. Так как он понятия не имел о приисковой работе, но был хорошо грамотен, — то его приставили для письменных занятий к трем старикам-старшинам, которые все очень хромали в отношении грамоты. Юноша очень быстро освоился со своим делом и стал вникать во все стороны приисковой жизни.

Прошел год, и старшины, как без рук, не могли обходиться без своего писаря. Никто лучше его не мог разобрать дело, прекратить ссору, продать золото или купить товар. Он оказался настолько умным, находчивым, изворотливым и смелым во всех случаях, что не только без его совета не решалось никакое дело, но даже более: все решалось так, как советовал молодой писарь.

Вскоре умер один из старшин, и, вопреки неписаной конституции общины, на место умершего был избран не очередной старик, — а молодой писарь: это было выгоднее всем, потому что расходы на администрацию уменьшались.

Прошло еще года два-три, — умер второй старик; на место его никого не выбрали. И когда умер последний из старых старшин, то во главе Дяо-пигоуской общины полновластным хозяином оказался один бывший писарь.

Это и был Хань Сяо-цзунь, по прозвищу Хань Бэнь-вэй.

В скором времени сама община и жизнь в ней сделались неузнаваемыми. Прежде всего, чтобы обеспечить людей собственным хлебом, Хань привлек на свободные земли в районе прииска земледельцев, уравнив их во всех отношениях с коренными общинниками-приискателями.

Во-вторых, разрешил своим людям обзаводиться семьями, что прикрепило прежних бродяг к одному месту. Эта мера, до сих пор никогда не практикуемая в «вольных» общи-

нах, показывает, насколько верил Хань в прочность создаваемого им дела, и на то, что «вольный», то есть попросту хунхузский облик ее Хань хотел превратить в сельский, лояльный, государственный.

В-третьих, Хань запретил без особого разрешения отлучки из пределов приисковой общины для продажи золота каждому приискателю, как это практиковалось раньше: все добытое золото приказывалось теперь сдавать в свою контору. Здесь золото в присутствии хозяина тщательно свешивалось; одна шестая часть его шла на общественные нужды, а пять шестых записывались в особую книгу на личный счет каждого. Время от времени сам Хань или его доверенные лица отвозили это золото в Гиринь и другие более, чем Гуань-гай, отделенные пункты, где, не зная продавцов, купцы давали за золото настоящую цену.

В-четвертых, на прииске были открыты склады товаров, которые отпускались рабочим по заготовительной стоимости.

В-пятых, Хань сделал разведки и открыл ряд новых приисков в том же районе.

В шестых, вместо трех оборванных сторожей, руками коих творили правосудие прежние старшины и которые составляли всю их силу, — у Ханя скоро появилась сотня отборных молодцов, отлично одетых и вооруженных ружьями новейшей системы. Отряд этот постепенно увеличивался все более и более, и во главе его скоро оказался европеец, каким-то образом попавший вглубь маньчжурской тайги и называвший себя немецким офицером... Целые ящики патронов, оружия и амуниции прибывали в Дяопигоу издалека и складывались в подземных хранилищах.

Все эти меры, да и многие другие, более мелкие, послужили к тому, что благосостояние приисковой общины, а также и число обитателей ее, увеличилось во много раз. Власть Хань Бэнь-вэйя признавалась бесспорно от самой корейской границы и чуть не до Руань-гайя...

Но не только «свой» подчинялись своему «хозяину» и были ему преданы, но даже население окрестных районов в затруднительных случаях несли свои дела и споры на ре-

шение Ханя, видя в нем своего защитника и нелицеприятного судью...

Ближайшие местные власти несколько раз хотели разогнать дяопигоуских «хунхузов», но встретили такой твердый отпор со стороны Ханя, что до поры до времени оставили его в покое.

Однажды в Гуань-гай приехал какой-то важный чин из Гирия. Точно неизвестно, что он там творил, но только местные жители бросились в Дяопигоу к Ханю с жалобой на произвол и поборы чиновника.

Через два дня Хань был уже в Гуань-гайѣ с небольшим числом своих людей. Он вошел в ямынь, где остановился «чин», вывел его на площадь и средь бела дня, на глазах у многочисленной толпы, — жестоко выпорол...

Кто знаком с психологией китайца, особенно интеллигентного, тот поймет, какую ужасную вещь сделал Хань. Гораздо меньший скандал получился, если бы он просто убил приезжего «да-жэня»; но этим наказанием он не только заставил его «потерять лицо», т. е. опозорил навек, и лишил его возможности продолжать службу, — но оскорбил также и пославшего его гирийского цзянь-цзюня (военного губернатора), а с ним — и все правительство...

Подобный вызов всем властям предержащим не мог остаться без возмездия. Тотчас поскакали нарочные с донесением в Мукдэнь и далее — в Пекин.

Вскоре из столицы было получено лаконическое приказание: «Немедленно дяопигоуское гнездо шершней разрушить дотла и всех хунхузов казнить».

Гроза нависла не только над Дяо-пи-гоу, но и над всеми попутными селениями, потому что, по мнению китайцев, солдат в походе — страшнее хунхуза... С северо-запада, со стороны Гирия, надвигался сильный отряд, состоявший из пехоты и кавалерии. Стон стоял у населения по пути наступления этого воинства...

Никто не сомневался, что дни верхне-сунгарийской вольной общины сочтены. Другие такие же приисковые общины могли бы прийти на помощь, — но они были слишком далеко. Могли бы помочь знаменитые корейские тигровые

охотники, если бы к ним обратился Хань; но он этого не сделал.

Хань поступил иначе. Он не стал дожидаться прихода правительственного отряда в свои владения, а двинулся на встречу ему и ночью напал на мирно почивавший после тяжелого дневного перехода гириньский отряд, никак не ожидавший такой преждевременной встречи с хунхузами.

Часть отряда все-таки успела оправиться и стать под ружье; но когда загремели две старые бронзовые пушечки, поставленные умелой рукой на командующей высоте и обстреливавшие продольным огнем всю долину, — китайский отряд в паническом страхе бросился назад враспынную. Но отступление ему было отрезано зашедшим в тыл неприятелем...

Мало кто из этого отряда вернулся в Гиринь.

Тогда лукавые китайско-маньчжурские власти решили держаться по отношению к нему другой тактики; экспедиций против Ханя больше не посылали, о нем больше в донесениях в Пекин не упоминали, — и вообще делали вид, что никакого непокорного «хунхуза» больше совсем не существует.

И такое «замалчивание» его продолжалось много лет...

За это время владения Ханя значительно расширились, число его «подданных» увеличилось в несколько раз, и все они пользовались несравненно большим благосостоянием, чем неподчиненные ему жители окрестных мест. Стража Ханя также значительно увеличилась, и он приобрел для нен даже... крупновское полевое орудие с значительным количеством снарядов.

Но никто больше не беспокоил жителей этого района, — и дяопигоуская община благоденствовала.

Наступил 1894 год. Началась несчастная для китайцев японо-китайская война. Японские войска, высадившиеся в Корею и разбившие китайцев при Пхюнь-янъ, двигались в

Маньчжурию. Китайский флот погиб. Китайцы впали в уныние...

В это время в ставку китайского главнокомандующего явился какой-то молодой человек и потребовал аудиенции.

— Я — Хань Дэнь-цзюй, — заявил он генералу, — внук Хань Бэнь-вэй'я — владельца Дяо-пи гоу. Мой дед скорбит своим китайским сердцем о неудачах наших войск, и прислал меня с отрядом в 300 человек к вам на помощь. Угодно вам принять нас, или нет?

Генерал сделал смотр отряду и был поражен: «хунхузы» были одеты, экипированы, вооружены и обучены несравненно лучше, чем лучшие из его войск; они даже имели свой обоз и не требовали ничего от китайского интенданства.

Конечно, они были приняты, хотя и с некоторым колебанием.

Вскоре японцы продвинулись на реку Ялу, — составляющую границу между Кореей и Маньчжурией, и здесь неожиданно для себя не только встретили отчаянное сопротивление, — но передовые их части были даже разбиты наголову. (Японцы об этом очень не любят говорить и стараются этот факт замалчивать; а в официальной истории о нем, кажется, даже не упомянуто.)

Это поражение нанес японцам отряд Хань Дэнь-цзюй'я.

И, хотя японцы 25-го октября перешли Ялу значительными силами и разбили китайскую армию, — но все-таки упомянутый эпизод, единственный успех китайцев в эту войну, был единственным красочным пятном на всем безотрадном мрачном фоне их постоянных неудач. Понятно, что китайское начальство и само правительство не могло не оценить его по достоинству. Хань Бэнь-вэй не только получил прощение всех его прежних прегрешений, — но ему еще прислали из Пекина красный шарик на шапку и пожаловали титул «ту-сы», который дается вождям инородческих племен в Западном и Юго-Западном Китае.

Таким образом, бывший «хунхуз» официально был признан князем самостоятельного владения, занимавшего в верховьях Сунгари нынешний Хуа-дянь-сянь'ский уезд.

Хань Бэнь-вэй, сделавшийся уже *persona grata*, вскоре

умер, и его место занял его внук Хань Дэн-цзюй. Таким образом, в новом «княжестве» образовалась уже династия.

Наступил 1900-ый год. В Китае началось движение, известное у нас под глупым названием «боксерского восстания». Желудок Китая судорожно сокращался, чтобы извергнуть насильственно попавшую туда неудобоваримую пищу — европейцев.

Генерал Вогак доносил из Тяньцзина о том, что не сегодня-завтра вспыхнет антиевропейское восстание; ему не верили. Он представил неопровержимые данные — Питер решил уже объявить его сумасшедшим; но генерал от переутомления и моральных страданий заболел воспалением мозга как раз в тот момент, когда началась уже резня и международный экспедиционный корпус двинулся от Таку к Тянь цзину и затем к Пекину.

Потянули и мы на юг, — начался китайский поход. Поход своеобразный, который мы делали вместе с французами, англичанами, немцами, американцами, итальянцами и японцами. Напрасно думают, что этот поход являлся только военной прогулкой: в Маньчжурии, где действовали мы одни, без союзников, — войска наши не раз попадали в весьма тяжелое положение.

Так, например, колонна генералов Р., Ф. и А., посланная специально против значительной неприятельской части, втянулась в горы и преследовала противника два месяца. Но он был неуловим. Наши идут по долине, а по обоим сторонам, по хребтам, параллельно с нами, двигаются дозоры противника, — простым глазом видно. Начнут по ним стрелять — спрячутся, а после снова покажутся. Но стоит отряду остановиться на ночлег — поднимают по нас стрельбу; не дают отдыхать да и только: ежеминутно ожидай нападения. Измучили нас ужасно!

Чем дальше в горы — тем путь становился тяжелее, да и провиант доставлять делалось все труднее. А враг наш — знаем, что он вот — здесь, а догнать его никак нельзя!

Наконец ген. Р. (он был старший) схитрил. Он сделал обычный дневной переход, расположился вечером на ночлег, поужинал... а потом, когда стемнело, — поднял отряд и сделал форсированный ночной переход.

Хитрость удалась: мы догнали главные силы неприятеля и напали на них. Завязался горячий бой; у неприятеля оказались даже горные орудия... Но все же мы, несмотря на значительные потери, разбили «боксеров», и те спешно отступили, не подобрав даже тела своих убитых.

Каково же было удивление наших, когда между убитыми они увидели два трупа, одетые в китайское платье, — но оба блондина и с рыжими баками...

Это были немцы-офицеры, руководившие неприятельским отрядом; их смерть, вероятно, от разрыва случайной шрапнели, и дала нам частичную победу.

В общем же, двухмесячный поход наш против этой банды был совершенно безрезультатен.

«Боксеры» же эти были не кто иные, — как отряд Хань Дэн-цзюй'я.

Спустя некоторое время, генерал Р. с двумя сотнями забайкальских казаков под натиском китайцев должен был отступить в район города Мопань-шаня или Мопэйшаня (теперь — Пань-ши-сянь) и попал в котловину между горами, заросшими лесом. Из котловины был только один выход — узкая дорожка. Это было 30-го октября — холода наступили рано, и замерзшая как камень земля гулко звенела под копытами коней станичников. Оледенелые крутые сопки крайне затрудняли движение кавалерии.

Казаки уже два дня ничего не ели. Им во что бы то ни стало нужно было пробраться назад, на запад, в населенные места; а значительные силы противника отжимали их все дальше и дальше на восток, вглубь гор...

Расположились казаки на ночлег в котловине, разложили маленькие костры, завесили их с боков шинелями, чтобы скрыть от противника, и греют воду из грязного снега.

Кольцо противника сжалось настолько, что уже слышны были голоса. Невеселую думу думает ген. Р. — видит, что приходится ставить в этой игре последнюю ставку, которая наверно будет бита...

Вдруг подходит к нему казак и докладывает, что «шпиона пымали!»

— А, шпион, — обрадовался Р., — отлично, мы его допросим. Смотрите только, чтобы он не сбежал!

— Никак нет, ваше превосходительство, он сам к нашей цепи пришел и все что-то спрашивает. И одет чудно — как быдто монах!

Р. приказал привести к себе «шпиона» и позвать казачка, недурно говорившего по-китайски и исполнявшего обязанность толмача, и велел ему допросить задержанного китайца.

Фигура последнего была действительно необычайна: одет он был в старый ватный халат с широким отложным воротником и необычайно широкими рукавами. Лицо его и вся голова были тщательно выбриты.

— Ты зачем сюда попал? — спросил Р-ф.

Китаец что-то ответил.

— Ён говорит, ваше-ство, что ён вас искал, — перевел казак.

— Меня? — удивился Р. — А что тебе нужно от меня?

— Вы — генерал Ань? (китайцы так называли Р-а). У вас 245 казаков?

Р. изумился — действительно, это было точное число людей его отряда. Но, подумав, что все равно странный китаец в его руках, — он ответил:

— Да, верно. Что же дальше?

— Знаете ли вы, генерал, куда вы попали? Другого выхода из этой западни, кроме вон той дорожки, — нет. Вас стережет многочисленный противник. Завтра чуть свет он на вас нападет и уничтожит...

— Да, знаю. Но зачем ты это мне говоришь и зачем ты сюда пришел?

— А вот зачем. Наши начальники радуются, что вы попали наконец в западню — а они вас боялись больше всех

русских генералов. Они радуются, что ни один русский не уйдет от них... Но они того не понимают, что сегодня они убьют у вас двести человек, — а неделю спустя придут несколько ваших полков и, мстя за вас, — убьют двадцать тысяч наших, — быть может, даже не солдат, а мирных поселян... Я — китаец, но я и монах, — служитель великого Фо. Я много читал и глаза мои видят дальше, чем у нашего предводителя... Я вас, русских, не люблю — но я вас спасу из любви к своим, чтобы впоследствии не было напрасных жертв!

Казак с трудом перевел речь монаха, но смысл был ясен.

Р. был поражен неожиданностью всего, что он только-что услышал.

— Как же ты нас спасешь? — спросил генерал.

— А вы скажите мне, — продолжал монах, — куда вы думаете двинуть утром свой отряд, чтобы спасти его?

— Конечно, на восток в горы — сзади у меня ведь путь отрезан; а там я горами постараюсь выбраться на дорогу; не идти же мне этой тропой!

— у вот, наши начальники и знают, что вы думаете так сделать, и поэтому все горы, особенно с востока, окружены войсками; а дорожка, — единственный выход из котловины, — не охраняется, потому что они знают — вы этой дорогой не пойдете. Поднимайте отряд и идите скорей этой тропой, пока еще не поздно!

Р. не знал, верить ли ему монаху или нет. Предатель он или спаситель?

Генерал посмотрел на монаха подозрительно:

— А ты не обманешь?

— Я пойду с вами, — просто ответил монах.

Раздумывать дальше было нельзя — скоро начнет светать. И что терял Р.? В худшем случае — бой, которого все равно не избежать...

Он решил и тотчас отдал приказание. Костры не были погашены, а наоборот, в них подбросили дров; коням быстро подтянули подпруги — они даже не были расседланы. А чтобы не выдать своего движения гулом земли от ударов копыт, — казаки оборвали полы своих шинелей и обвязали сукном копыта коням.

Все делалось быстро, но молча и в полной тишине: все понимали, что дело идет о спасении, на которое, впрочем, ни у кого не было надежды. В несколько минут все было готово и отряд, ведя коней под уздцы, так спешно стал вытягиваться по узкой тропе, что даже наши раненые были оставлены у костров...

Впереди шел Р. и около него, под охраной двух казаков, — монах в качестве проводника.

— О-ми-то-фо, о-ми-то-фо, — повторял про себя монах, сложив перед грудью молитвенно руки ладонями вместе.

Тропа втянулась в узкое дефиле между двумя горами. Вдруг монах, подняв предостерегающе одну руку, — другой указал на какую-то скорчившуюся фигуру, сидевшую в шагах в 30 от дороги на земле, прислонившись спиной к дереву. Это был единственный китаец-часовой, поставленный на всякий случай окарауливать тропу. Он крепко спал, обнявши колени вместе с винтовкой.

У казаков захватило дух: достаточно ничтожного шума, хруста сломавшейся под ногою ветки или ржания лошади, чтобы часовой проснулся и поднял тревогу. Тогда все дело пропало...

Казакам помогло казацкое счастье, а монаху — великий Будда. Ни одна лошадь не заржала, ни один камень не сорвался, и ничто не нарушило сладкого сна усталого и иззябшего хунхузского часового. Весь отряд прошел мимо него и успел вытянуться из ущелья...

Вдруг издалека, со стороны ловушки, из которой казаки только что успели спастись, раздался какой-то шум, а затем стоны и крики: «Помогите, братцы! Хоть пристрелите нас! Нас кладут на костры...»

Это кричали оставленные на произвол судьбы раненые, которых невозможно было взять.

Отряд, мучимый совестью, вскочил на коней, чтобы поскорее уйти от этих душу раздирающих криков...

Внезапно сзади, совсем близко, раздался выстрел — это дал сигнал проснувшийся часовой. Но было уже поздно: отряд на рысях уходил от опасного места по все улучшавшейся дороге, и не боялся уже преследования со стороны

«хунхузов», во главе которых стоял тот же Хань Дэнъ-цзюй*.

После этого случая мы стали считаться с Хань Дэнъ-цзюй. Проезжая однажды через местечко Гуань-гай, ген. Р. узнал, что Хань сейчас находится у себя в своем поместье Цзинь-инь-цзы (Ти-инза), всего в десяти верстах от дороги, ведущей из Гуангая в Гиринь. Р., прекрасный боевой генерал, лично был человек очень храбрый. Он взял проводника и с тремя офицерами без всякого конвоя свернул с дороги и поехал в Цзинь-инь-цзы («Золотую усадьбу»).

У ворот в богатую усадьбу генерала встретил сам хозяин — Хань Дэнъ-цзюй, со всей вежливостью, предписываемой китайскими церемониями.

Гостей усадили за стол. Вскоре появилось шампанское (это в глуши Маньчжурии-то, у хунхузов!), которое развязало языки.

— Скажите, пожалуйста, — обратился хозяин к Р., — какая истинная причина вашей поездки сюда?

— Я хотел видеть того китайского военачальника, с которым мы, три генерала, с превосходными силами, в течение нескольких месяцев ничего не могли сделать, — ответил Р.

— Но как же вы не побоялись приехать сюда ко мне без всякой охраны?

— Чего же мне бояться? Ведь я — ваш гость.

Этот ответ сделал то, чего не могли сделать ружья и пушки: он превратил Ханя из врага Р-а если не в его друга, то во всяком случае в человека, расположенного лично к Р-у.

Прошло несколько лет. Снова темные политические тучи стали заволакивать восточный небосклон, — у нас обострились отношения с Японией.

Мало кому известно, что истинной виновницей нашей войны с Японией была Германия. Теперь уже не составляет дипломатической тайны то обстоятельство, что по договору, заключенному с Китаем нашим послом Кассини, Китай

* Рассказ об этих двух столкновениях с войсками Ханя автор лично слышал от генерала Р. и от участника двухмесячного похода — полковника Вознесенского.

отдал нам в пятнадцатилетнюю аренду идеальный, райский порт Цзяо-чжоу на южном берегу полуострова Шаньдуня, и этот порт должен был служить выходом строящемуся Великому Сибирскому пути. Пронюхав об этом через своих шпионов в Петербургских «сферах», Германия тотчас же решила во что бы то ни стало перехватить у нас этот лакомый кусок.

В район Цзяо-чжоу были посланы специальные немецкие агенты под видом миссионеров для агитации среди населения. Дело было поведено настолько энергично, что в результате два особенно рьяных «миссионера» были... убиты.

Получилась колоссальная провокация, которую Германия использовала как нельзя лучше: пригрозив Китаю беспощадной войной, Германия потребовала у него в качестве компенсации за убийство именно порт Цзяо-чжоу (Киао-чао) с прилегающим районом, — потому что «именно там произошло убийство, а что полито германской кровью — то принадлежит Германии»...

Положение Китая получилось крайне тяжелое и неловкое, и Китай просил нас принять Порт-Артур в обмен за Цзяо-чжоу.

Мы совсем не были расположены вступать в драку с Германией из-за куса китайской, хотя и хорошей, земли, тем более, что в вопросах нашего обрезания и укорочения и Германию, и всякую другую державу тотчас же поддержала бы наш «друг» Англия.

Мы согласились на мену, — и в ответ на занятие немцами бухты Цзяо-чжоу в ноябре 1897 года, — и адмирал Дубасов 16 марта 1898 года поднял русский флаг в Порт-Артуре.

Вот разгадка того, что мы получили Артур так легко, без всяких обычных китайских дипломатических фокусов, — и даже без протеста Англии, которая, попросту говоря, прозевала этот факт...

Если бы не пиратское вмешательство Германии, мы бы имели выход в Великий океан не в Ляодуне, — а на юге Шаньдуня; южная ветка дороги прошла бы далеко от Южной Маньчжурии и Кореи, никакого столкновения с Японией не

произошло бы, и, следовательно, не было бы Русско-японской войны. А поэтому не было бы и тяжелых для нас последствий, и вся история последних пятнадцати лет была бы совсем другой...

Вот где корни нашей Артурской, а после — Ялуской «авантюры». Это были не авантюры, а мудро задуманные неизбежные в нашем положении государственные мероприятия и, будь они выполнены как следует, — столкновения с Японией все-таки не произошло бы.

Как бы то ни было, но уже с 1902 года генерал Самойлов из Японии, как некогда генерал Вогак из Тяньцзина, — усиленно доносил о направленных против нас совершенно открытых военных приготовлениях. Питер все его донесения отправлял на проверку проклятой памяти знаменитому адмиралу А., заменившему собою рыцарскую фигуру генерала Суботича и уже заболевшему тогда манией величия. Но ни донесения С., ни сообщения тому же А. многих лиц уже в январе 1904* года о военных приготовлениях японцев в Корее и Южной Монголии, не могли вернуть разума этому злому гению России... И только 26 января 1904 года сознание его было несколько просветлено японскими минами.

Все мы знаем ход несчастной для нас японской войны; но, вероятно, мало кто знает, что сравнительно милостивый для нас мир был заключен только благодаря тому, что наша армия, сдвинутая с мукдэнских позиций, осталась неразбитой (кроме правого фланга), и на сыпингайских позициях она представляла собою такую силу, которой японцы до того еще не видали. Историки этой войны, конечно, дадут этим фактам свое объяснение, научно-военное; но наверно позабудут упомянуть про одно лицо, роль которого в этом счастливом для нас исходе совсем не так мала, чтобы не быть отмеченной.

Начались страдные дни Мукдэня. Японцы, благодаря халатности, незнанию восточных языков и полному неумению наших штабных заправил организовать разведку в незна-

* В тексте здесь и ниже ошибочно значится «1903» (*Прим. сост.*).

комой им стране, — обошли наш правый фланг по монгольским землям и принудили нас спешно отступить.

На наш же левый фланг, опиравшийся на деревеньки Цинь-хэ-чэнъ и У-бай-ню-лу-пу-цзы, наступление японцев началось еще с 6-го февраля 1905 года, т. е. ровно за полмесяца до начала наступления на правом фланге, — приведшем к мукдэнскому погрому.

Эти полмесяца японцы усиленно долбили левый фланг армии Линевича, которым командовал уже знакомый нам генерал Р. Силы его были крайне незначительны (был такой момент, что в течение трех дней у него было в распоряжении только 6 рот и... 6 генералов). Хорошо еще, что ему вскоре прислали на подмогу генерала Данилова с двумя полками, составившими крайний оплот нашего левого фланга.

Мы были значительно выдвинуты вперед сравнительно с остальной линией, и 11-го февраля Р. и Д. стали отходить на общую линию обороны. Но, дойдя до д. Мацзядана и выровняв общую линию, — Р. твердо стал на месте и восемь дней, несмотря на ураганный огонь противника, не только не уходил, — но, отбив японцев, несколько раз просил разрешения перейти в наступление. И каждый раз ему в этом отказывали.

Вдруг 22 февраля полушилось от Штаба главнокомандующего приказание отступать... Р. не верил своим глазам, предполагая ошибку или недоразумение, и потребовал подтверждения приказания. И вторично получил строжайшее приказание отступить.

Солдаты плакали, уходя со своих позиций на сопках, где они восемь дней продержались без всяких окопов...

Мы отошли к городкам Хай-лунъ чэну и Чао-янъ чжэню, где и расположились на долгих квартирах. Началось длительное накопление сил как с нашей, так и с японской стороны, и одновременно с этим — подпольная работа элементов, старавшихся привести армию к разложению. Из России стали приходить такие пополнения, от которых отказался бы даже Петр Амьенский. Ген. Р. усиленно работал, внедряя дисциплину в ряды солдат и офицеров, и постепенно выработывал в них боевой опыт, доводя все новые части не-

пременно в своем личном присутствии до боевого столкновения с японцами.

Особенно много хлопот дали ему наемные китайцы и N-ая пехотная дивизия, приведенная с благодатного юга России начальником дивизии, прозванным «сумасшедшим муллой» и сформированная из четырех запасных батальонов, никогда не думавших попасть на войну. Но, тихо рвущиеся в бой, люди этих частей были часто неизвестны в тылу, особенно при «покупках» скота у китайцев...

Однажды генералу Р. какой-то китаец принес письмо на китайском языке, которое перевел офицер-восточник. Письмо гласило: «От ту-сы Хань Дэн-цзюй'я из Хуашулинь-цзы (название селения, образовавшегося вокруг Цзинь-инь-цзы — усадьбы Ханя).

Генерал Ань-минь! В течение нескольких лет подряд ваши храбрые военачальники и их солдаты вели себя так, как следовало. Когда в 26-м году эры Гуань-суй (1900) мы примирились с вами, мы не раз навещали друг друга; наши добрые отношения, все улучшаясь, проникали всюду в народ, благодатно орошая (дружбу обоих народов), возникла и крепла нелицемерная правда. Между нами не было и зародыша подозрения, нелюбви или ненависти; никогда не возникало никаких неприятных дел. Когда наши разведочные отряды бывали у вас, то офицеры, солдаты и толмачи вели себя тихо и прилично; наши взаимные чувства любви и доверия совпадали; имущество и труд жителей охранялись. И мы были за это вам сердечно благодарны. Пусть же теперь проникнет (мой голос) в ваше чистое сердце!

Знайте, что мы глубоко огорчены и сердце наше сжимается, потому что в настоящее время жители наших трех долин угнетены. Глупые (мы) надеемся, что вы озарите нас своим вниманием; на колени молим, чтобы и на будущее время (не оставляли нас).

Бывшему здесь раньше начальнику русского отряда почтительно прошу передать благодарность за его охрану (наших людей); когда мы взаимно оберегали друг друга, (царствовало) согласие, мы не видали горя и огорчения. Вдруг 12-го числа этого месяца на рассвете Мадритов привел к нам бо-

лее 2000 человек. Раньше он поместил более 700 чел. Подчиненных ему китайских солдат в селение Хуа-шу-линь-цзы, где они произвели смуты и беспорядки, не слушая своих начальников и офицеров, и насиловали женщин. Эти люди были все хуа-бань-дуй (китайские добровольные солдаты).

Свидетелей этих безобразий — много. Возможно ли было не довести до вашего сведения о подобных делах?

Позвольте вас просить передать М-ву, чтобы он приказал своим подчиненным солдатам и офицерам: пусть они живут спокойно и прекратят безобразия, потому что нижние чины-китайцы причиняют не только беспокойство, но приносят “грязь и огонь”.

Младший брат твой (я), моя старая мать, мой “щенок” (сын) — все теперь временно живем в Му-цзи-хэ. Когда мы услышали о движении войск, наши кости затрепетали от страха и сердце задрожало; мы не можем спать и есть, не имеем ни одной спокойной ночи.

У кого нет отца и матери? У кого нет жены и детей? Буду искать выхода в своем сердце; и как я могу быть беззаботным, когда его жжет огонь?

“В дорогой парче отдельной ниткой пренебрегают”.

“Истинно мудрый да вникнет”.

“Слова совета и поучения усваиваются и служат пружиной мыслей, желаний и надежд”.

Ведь в наших жилищах старикам и детям нет покоя, они мало спят и не едят; все люди в селениях, ожидая возникновения беспорядков, трепещут, семьи убегают и рассеиваются. Доходит до того, что поля превращаются в пустыри, запущенные пространства все увеличиваются, недостаток пищи для стариков и детей быстро растет. Весь народ тронется вашей милостью, потому что горе людей и рассеяние семей достигло крайнего предела. Я преклоняюсь перед вашей великой добродетелью!

Когда приехал М-ов, я виделся с ним, и мы были довольны друг другом. Но бывшие с ним хуабандуи вели себя грубо и нарушали военные законы и обычаи. Они тайно от русских офицеров творили всякие безобразия. Начальники же их из китайцев делали им всякие послабления и пота-

кали им. Они подобным поведением позорили чистое прекрасное русское войско.

Мы с вами в хороших отношениях. Разве могли мы не обратиться к вам при наличии подобных несправедливых дел?

Продлите и усильте на вечные времена мир между людьми, чтобы все окончательно не разбежались. Пусть ваша неисчерпаемая милость окажет покровительство и защиту всей вселенной.

В письме всего не выразишь словом; а что и написано, то плохо выразило мысль. Почтительно представляю это недостойное письмо. Вынужденные обратиться, -- с надеждой обращаем к вам взоры. Истинно молим, — да будет исполнена наша просьба.

Именно для этого и написано это чистосердечное письмо.

Молим о всеобщем благоденствии, мире и счастье и ожидаем от вашей засвидетельствованной мудрости беспристрастия.

Представляю вместе с карточкой.

5-ой луны 13-го числа 31 года эры Гуань-суй (2-го июня 1905 года)».

Но это письмо запоздало, потому что отряд из китайской вольницы, которым командовал М-ов, был уже передвинут в другое место.

Но прошло месяца полтора, как вдруг Р. получает новое письмо следующего содержания:

«Почтенный сановник генерал Ань, великий полководец! Смею довести до сведения генерала, что 26-го числа 6-ой луны в мою деревню Ми-ши-хэ приехал офицер с красным околышем на фуражке и тремя звездочками на золотых погонах, и с ним девять конных солдат. Они стали ходить по дворам и собирать скот, несмотря на заявление хозяев, что те не хотят продавать его. Всего взяли десять быков и коров, восемь мулов и тридцать шесть лошадей. Когда некоторые хозяева не хотели выпускать скот со двора, — их жестоко избили нагайками. Затем офицер потребовал старшину и давал ему 540 рублей. Старшина не взял. Офицер при-

бавил еще десять рублей; старшина все-таки не брал. Тогда офицер бросил деньги на землю и уехал вместе с солдатами. Но часть из этих денег солдаты подобрали и увезли с собою.

В деревне были мои солдаты, которые могли бы воспрепятствовать поступкам офицера; но они этого не хотели сделать из уважения к вам. Я боюсь, почтенный цзянь-цзюнь, как бы не вышло неприятностей при приезде ваших людей в мои селения... Поэтому, если впоследствии вашим войскам понадобится скот, лошади, мука и т. п., то не найдете ли возможным не посылать за этим людей, а уведомить меня письмом — в каком пункте, сколько и чего вам нужно. Все будет точно доставлено в срок, по цене, которую вы признаете справедливой. Недоразумений не будет, и дружба не нарушится. 27-го числа 6-ой луны 31-го года эры гуань-суй».

При письме была приложена большая красная визитная карточка, на которой крупными черными иероглифами было написано: Хань Дэнь-цзюй.

Р. был взбешен до крайности.

— Это что же у меня в корпусе делается? Мародерство завелось?!

Его успокаивали, что китаец в письме, наверно, преувеличил. По всей вероятности, китайцы-поселяне жадничают и хотят побольше получить за проданный скот.

— То, есть вы говорите, что Хань Дэнь-цзюй соврал? Нет, не убедившись точно, что это правда, он не напишет!

По имевшимся в письме данным, Р. сообразил, где искать виновного офицера. Он приказал подать себе коня и вместе с обычной свитой поскакал в расположение Л-ского полка, первого полка пресловутой N-ой дивизии.

Появление строгого генерала, да еще бывшего, очевидно, не в духе, — произвело в полку переполох.

Р. отправился в расположение полкового обоза. Тотчас к генералу прибежали заведующий хозяйством и квартирмейстер. Генерал взглянул на последнего — подпоручик. Нет, значит, не он...

Осмотрел генерал все команды в полку, где были лошади, — и все находил дурным, всех распушил; везде был не-

порядок и нехватка в конском составе. Но подходящего поручика не находилось... Уж не обманул ли его китаец? — шевелилось у него в мозгу.

— А команда конных охотников, которую я приказал формировать? Готова ли? Где она?

Оказалось, что команда расположилась отдельно от полка, в соседней усадьбе.

Генерал поскакал туда.

Высочивший из фанзы дежурный унтер с запахом ханшина отрапортовал генералу, который пошел во внутренний двор прямо к коновязам, у которых были привязаны кони и шесть мулов.

Р. внимательно осмотрел их.

— А мулы чьи? — спросил он дежурного.

— Так что наши, ваше пр-во, — бойко ответил унтер.

В это время к генералу подходил уже откуда-то взявшийся начальник команды. Генерал смотрит — поручик, лицо нахальное, цыганское.

— А кони у вас, поручик, хороши, в теле!

Поручик расцвел — от Р. трудно было добиться похвалы.

— Так точно, в. пр-во!

Генерал пошел дальше и осмотрел каждый закоулок помещения команды, и все хвалил. Видел и китайские «тигровые» одеяла на постелях у солдат, и козьи подстилки, и изящные резные кальяны из белого металла, чувствовал всюду предательский запах ханшина, — и расположение духа его все улучшалось.

Наконец, в отдельном сарайчике, он увидел еще двух прекрасных вороных мулов.

— Отлично, поручик! Вы прекрасный хозяин!

— Рад стараться, — щелкнул шпорами цыган, прикладывая руку к козырьку.

— Давно ли вы приобрели этих мулов?

— Дней шесть тому назад, в. пр-во!

— А почему платили вы за них? — как бы невзначай спросил Р.

Поручик поперхнулся:

— По... 120 рублей, в. пр-во!

— Что-о? Вы шутите! Кто же во время войны платит такие деньги?! Теперь красная цена по 10 рублей за всякую скотину... Эй! — крикнул генерал, — кто был с поручиком 5-го числа, когда покупали коней и мулов?

Несколько солдат подбежали к генералу.

— Почему китайцы отдали скот? — спросил Р. у пожилого, лет за 40, мешковатого солдата.

— Да вони вотдалы по 10 карбованцев, — отвечал бородастый солдат, радостно улыбаясь при воспоминании о выгодной хозяйственной сделке своего начальника.

Р. приказал солдатам идти в фанзу. Когда около него остались одни офицеры, генерал сделал какое-то маленькое вычисление в своей записной книжке, а потом сказал сконфуженному поручику спокойным, по-видимому, тоном:

— Вы, поручик, дали задаток за скот, а остальные 5940 рублей забыли отдать. Потрудитесь сейчас же ехать в Мишихэ, отдать все деньги и расписку представить мне. Вы... вы — мародер!

Ну, тут генерала прорвало... Чего он только не наговорил поручику! Никогда ни на одного солдата, кажется, он так не кричал, как на бедного цыгана.

— А теперь отправляйтесь; да если я узнаю, что вы делаете что-нибудь этому солдату-хохлу, — то я вас под суд отдам, — закончил Р., выходя, отдуваясь, из усадьбы.

На другой день расписка жителей Мишихэ в получении общей сложностью 6480 рублей была представлена в Штаб корпуса.

Через три дня Р. снова получил письмо от Хань Дэнъ-цзюй с приложением подарков — несколько кусков шелка. Хань писал, что пускай Р. не беспокоится за свой левый фланг: ни один неприятельский солдат или лазутчик не пройдет к нам в тыл через его владения.

И он сдержал свое слово... Хунхузы, находившиеся на нашей службе под начальством полковника М., беспрепятственно шарили в тылу у японцев; а хунхузы, служившие у японцев под начальством Фынъ Линъ-го, ни один проникнуть к нам в обход левого фланга — не мог.

Кончилась война. Отдали мы японцам не просимую ими территорию между Кай-юань-сянемъ и Куань-чэнъ-цзы потому, что наши генералы и штабные не слыхали о существовании двух ветвей «ивовой изгороди». Японцы требовали по южную, — а мы отдали по северную... Признанное за нами наше влияние в Гирине стало улетучиваться вследствие полной неосведомленности и инертности наших заправил, управлявших Маньчжурией из Питера.

Японское же влияние усиливаюсь все более и более; проведена была Цзи-чанская жел. дорога между Куань-чэнцзы и Гиринем: числилась она китайской, фактически же была японской дорогой. Всюду расплодились японские магазины, банки и всякие другие предприятия.

Понравились японцам также золотые прииски и леса в верховьях Сунгари. Были нажаты соответствующие пружины, и... владельческому князю Хань Дэнъ-цзюй было предложено обменять его чудные владения на огромный, но бесплодный и болотистый кусок земли между нижними течениями рек Уссури и Сунгари.

Но Хань не согласился.

И все-таки дипломатия настояла на своем. В настоящее время Хань живет в Гирине за западными воротами, по дороге в бывшее русское консульство. Он — богатый человек и имеет генеральский чин. Но влияния он не имеет больше никакого, и его бывшее поместье Цзинь-инъ-цзы — теперь уездный город Хуа-дянь-сянь.

Харбин
1918 г.

ИГРОКИ

Китайская быль

Дорожному другу
П. В. ШКУРКИН.
Коллекции А. И. Куфери
на добрые дела
от автора
15/5/30. Сентев.

ИГРОКИ

КИТАЙСКАЯ БЫЛЬ



ХАРБИН,
Типо-Лито-Фото-Цинкография Л. М. Абрамовича.
1926

I

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Несмотря на разность культур, истории, религий, общественных условий, рас и т. д.. — человеческая натура, рассматриваемая с точки удовлетворения физических и нравственных потребностей, остается одной и той же для европейца, азиата и индейца. Вся разница только в способах этого удовлетворения или количестве потребностей, количестве, которое, конечно, возрастает по мере интеллектуального роста каждого народа и как морального, так и умственного развития каждого индивидуума.

Борьба за существование нелегка, проявлялась ли она в форме пятнадцатичасового заседания в палате французского депутата, в преследовании три дня подряд стада оленей североамериканским индейцем, в непрерывной работе китайского кули, перевозившего товары в тачке на тысячи верст, или в тяжком труде рабочего в каменноугольных коях.

Всякий работник нуждается в каком-либо средстве, чтобы хотя бы на время отвлечься от суровой действительности, чтобы хоть на минуту дать мыслям другое течение, поднять свои нервы, дать деятельности мозга, сердца или мускулов другое направление. Каждый удовлетворяет эту потребность по своему. Огромное меньшинство (которое поэтому нельзя ставить в обязательный пример) старается получить это «отвлечение» от обыденной жизни за счет удовлетворения высших нравственных и умственных потребностей человека: один идет (таких очень мало) слушать научный доклад, другой каждую свободную минуту отдает чтению, музыке, философскому размышлению и т. д. Гораздо чаще европеец пойдет на бал, в кафешантан, в «детскую»; ему необходим коньяк, карты, сигары, милые создания и т. д. ... Немец-рабочий не может обойтись без пива, русский — без водки, индеец — без табаку, китаец — без опиума (опять повторяю: исключения в расчет не принимаются) и без азартных игр.

Всегда, везде, во всех установлениях и у всех народов азартные, то есть основанные на случае, игры признавались вредными, и против них издавались ограничительные постановления. Понятно, чем народ экспансивнее, тем он более стремится к азартной игре, и тогда могущие случиться нежелательные последствия игры бывают тем чаще и печальнее. Там, где северянин ограничится бранью или, в крайнем случае — боксом, там у южанина сверкает наваха или идет в ход револьвер.

Китайцы были и будут всегда народом в высшей степени азартным. В какую бы обстановку они не были поставлены, какие бы наказания им не грозили, они не откажутся и не могут отказаться от азартных игр.

В самом деле: каждый «настоящий» необъевропеившийся (есть и такая, понюхавшая слегка Европу, очень дурная разновидность) китаец, конечно, ставит закон своей родины неизмеримо выше европейского. Очень недавно китайский закон весьма смягчил наказание за самый факт участия в азартной игре (карается штрафом в 1000 долларов), а профессиональных игроков карает ссылкой до 5 лет. Но до 1912-го года закон гласил так:

«Всякий, кто делает или продает принадлежности игры, ссылается на службу в солдаты в войска, расположенные по границе, его сообщники и помощники-торговцы получают 100 ударов бамбуком и ссылаются за 2000 ли»... Наказывались укрыватели, местный старшина, хозяин дома, где шла игра или готовились принадлежности игры, хозяин лавки, продавший их, и т. д. Все, захваченные во время игры, без исключения отправлялись в тюрьму и получали по 40 ударов. Организаторы и администраторы игры, после телесного наказания, ссылались (обыкновенно в провинцию Ганьсу).

«Если будет объявлена война, — говорил дальше закон, — или будут посланы войска для умирения восставших, то все попавшиеся навстречу сосланные за устройство азартных игр немедленно подвергаются казни. В окрестностях Шанхая, немедленно по обнаружении азартной игры устроители таковой тотчас подвергаются смертной казни».

Приведенные данные показывают, как строго относился китайский закон к азартным играм. Но это, на наш взгляд, необычно строгое отношение оправдывается тем вредом, который приносят эти игры китайцам, и о котором мы, европейцы, иногда не имеем представления.

До чего разыгрываются страсти игроков, показывают следующие случаи, бывшие не так давно во Владивостоке или в Южно-Уссурийском Крае. Все они списаны с натуры; это не художественные произведения, не картинки, а сухие негативы, часто даже силуэты, черным по белому: других красок нет.

Совершенно особняком стоит рассказ «Счастливый игрок», написанный большей частью не по лично собранным материалам и затрагивающий несколько иные стороны жизни и при другой обстановке, чем все предыдущие рассказы.

Более светлые и неопределенные тона последнего рассказа, быть может, несколько сгладят мрачное впечатление, которое невольно остается от предыдущих печальных картин. И этим, быть может, оправдывается помещение «Счастливого игрока» вместе с остальными игроками, «несчастливыми».

Таким образом, «Игроки» являются второй серией этнографических рассказов (первая серия — «Хунхузы»).

П. Шкуркин

Харбин,
1920 г.

II

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

Это было в 1901 году. Во Владивостоке, на Семеновской улице, в доме, арендуемом китайцем Цзян-и, другой китаец, по прозвищу Тяо Пань-цзы, содержал игорный притон, по-местному — «банковку». Тяо Пань-цзы — высокий, плотный, здоровый китаец, был, по-видимому, не в ладах с уголовными законами, потому что ни настоящей фамилии, ни имени его никто не знал.

Нужно заметить, что в хунхузских шайках никто не носит своих имен, да о них никто там и не спрашивает; всякий приходящий туда получает прозвище, с которым и уходит из шайки, и которое он продолжает носить иногда всю жизнь, конечно, если только не возвращается в места, где его знали еще до «перемены судьбы».

Дела Тяо шли недурно. Время от времени он с оказией посылал деньги куда-то в Шань-дунь, да и про запас было отложено. Посетителей в его «доме» всегда было достаточно, так что у входных дверей не нужно было даже ставить зазывальщика, как это практиковалось в других подобных «заведениях». Сам Тяо Пань-цзы всегда присутствовал при игре, и даже позволял иногда себе баловство — поставить две-три ставки; конечно, он делал это не ради выигрыша — он в этом не нуждался, а чтобы оживить игру, если она шла вяло.

Одним из постоянных посетителей этого притона был маленький, тщедушный, но злой и задорный Сяо Сяо-эр. Это было тоже прозвище, а не имя. Кто такой был Сяо, каково его общественное положение и как <его> в действительности звали — до этого не было никому дела. Но, очевидно, у него был известный запас денег, потому что он почти ежедневно вел игру, и немалую...

Но ему очень не везло. Каждый день он через час, а то и меньше, уже проигрывал все, что приносил с собой. Сяо страшно бранил и себя, и всех, а особенно Тяо Пан-цзы, обе-

щая его убить. Но брань и угрозы постоянно слышатся в подобных «учреждениях», и поэтому никто на них не обращает внимания.

Однажды Сяо Сяо-эр, по обыкновению проигравшись, вытащил из-за пазухи солидных размеров нож и, грозя им хозяину банковской, сидевшему напротив по другую сторону игорного стола, сказал:

— Проклятый Тяо Пань-цзы! Ты меня совсем разорил, я тебя убью!

Тяо поднял от стола, на котором лежали ставки, свои начинавшие заплывать жиром глаза на Сяо и, засмеявшись, сказал:

— Что же ты мне грозишь с той стороны стола? Оттуда ведь не достанешь! Ты иди лучше сюда!

Толпа стала хохотать — очень уж комичен казался контраст между массивным, веселым Тяо и тщедушным, захлебывающимся от злости Сяо.

Прошло несколько дней. Сяо, по обыкновению, проигрывал и часто грозил ножом хозяину притона, так что все уже привыкли и перестали обращать на это внимание.

Однажды Сяо проиграл, вероятно, особенно много, потому что был взбешен выше всякой меры. Но Тяо, сидевший за столом и следивший за крупными ставками, не обращал на него ни малейшего внимания.

Зрители, не принимавшие участия в игре, стали подтрунивать над Сяо:

— Ты уже давно обещаешь убить Тяо Пан-цзы, да что-то не торопишься исполнить свое обещание!

— Какая собака много лает, та никогда не кусает, — раздалась реплика со стороны.

Тогда Сяо, задетый за живое, подошел сзади к Тяо Пан-цзы, выхватил из-за пазухи свой нож, с которым никогда не расставался, и перегнул сверху над сидевшим хозяином. Не успели зрители сообразить, что у них делается перед глазами, как в руке Сяо сверкнул нож и глубоко, по самую рукоять, вонзился в грудь Тяо Пан-цзы.

Воцарилось молчание. Тяо поднял голову, обернулся к отскочившему Сяо и засмеялся:

— Ах ты, грязный заяц! (Слово заяц, как известно, является у китайцев одним из самых презрительных ругательств).

Несмотря на смех, вид Тяо Пан-цзы с торчавшей из груди рукоятью ножа был так страшен, что Сяо бросился бежать из комнаты.

Тяо схватился за нож, вырвал его из груди, и зажав рану левой рукой, вскочил и бросился за Сяо на улицу.

Сяо Сяо-эр, видя, что ему не уйти от своего врага, вскочил в другой игорный дом, бывший тут же, дома через дватри, где хозяином был японец и где в этот момент также шла игра.

Народу здесь было так много, что Сяо не мог никуда пробиться сквозь толпу, чтобы спрятаться. Поэтому он хотел юркнуть между ногами играющих под стол...

Но в этот момент Тяо уже вбежал за ним в этот притон. Огромный, с искаженными ненавистью чертами лица и с окровавленным ножом в руке, он был ужасен... Никто не успел дать себе отчета в том, что здесь происходит, как Тяо с размаху всадил тцедушному Сяо между плеч его же собственный нож...

Но это была последняя вспышка энергии, и он сам без звука, без стопа упал бездыханным на пол лицом вниз.

Очевидно, нервы Сяо были так сильно напряжены, что он не почувствовал страшной раны. Оставаясь все в том же согнутом, лягушачьем положении, он спросил:

— Тяо Пан-цзы ушел или нет?

— Не бойся, Сяо Сяо-эр, — ответил ему кто-то из среды присутствовавших, пораженных ужасным зрелищем, — Тяо Пан-цзы больше нет!

Обрадованный Сяо-эр хотел приподняться, но у него хлынула кровь изо рта и он упал мертвым тут же, на труп убитого им Тяо Пан-цзы.

III

СТАВКА ШЕЙЛОКА

Параллельно главной Светланской улице, на которой в описываемое время был только один китайский магазин, тянется во Владивостоке Пекинская улица, на которой был только один русский и один японский дом. Остальная же часть улицы была сплошь покрыта китайскими домами и лавками.

На одном из участков этой улицы, принадлежавшем Ян Лайью, притон, содержавшийся неким Сунь Сы-цзяном. У ворот этого дома всегда можно было видеть китайца, который зазывал прохожих, крича: «Бао-цзюй, бао-цзюй!» (игорный дом).

Нужно заметить, что арендатор игорного помещения редко является хозяином игры. Обыкновенно большую комнату с двумя отдельными ходами у домохозяина арендует какое-нибудь лицо на более или менее продолжительный срок, как обыкновенный квартирант, а уже от себя это лицо сдает это помещение поденно хозяину игры. Поэтому последние могут весьма часто меняться; и со стороны весьма трудно определить, кто же в сущности является настоящим содержанием игорного дома: постоянный ли арендатор квартиры или сменяющийся чуть ли не ежедневно хозяин «банковки»?

«Банковка» — это аппарат, являющийся прототипом рулетки. Он состоит из четырехугольной толстой пластинки меди, вершков двух в квадрате, посреди одной стороны имеется вырез. В центре этой пластинки прикреплен полый медный четырехугольный столбик, около трех сантиметров высотой и двух сантиметров в квадрате поперечного разреза. В этот столбик вставляется точно заполняющий его пустоту деревянный четырехугольный столбик, верхняя и нижняя стороны которого разделены пополам: одна половина, с наклеенной на нее костяной пластинкой, называется «белой»; а другая, деревянная, называется «красной» (потому что стол-

бик всегда делается из твердого, красноватого дерева или окрашивается под красное дерево).

Медный столбик, с находящимся внутри деревянным, закрывается сверху медной же крышкой или футляром.

Второй необходимой принадлежностью банковки является скатерть, которая кладется на стол. Посреди этой скатерти начерчен тушью четырехугольник несколько большего размера, чем основание у медного вышеописанного аппарата. На половине одной стороны нарисованного четырехугольника, называемой «первой», имеется отметка или зигзаг. От каждого угла четырехугольника к углам скатерти проведены по диагоналям линии. Таким образом, вся скатерть разделяется на пять частей: центральный квадрат и четыре трапеции. Последние обозначены написанными посредине их крупными китайскими цифрами; 1, 2, 3 и 4.

Вот и все приспособления.

Хозяин игры всегда нанимает себе помощника — «банкомета», который за рубль-полтора «работает» до поту с четырех-пяти часов дня, когда начинается игра, до двух-трех часов ночи, когда обыкновенно кончается.

Когда соберется несколько посетителей, желающих начать игру, банкомет берет банковку (будем так называть медный аппарат) и уходит с ней в соседнее помещение, если таковое имеется, или же за дощатую перегородку с крошечным окошечком, которая обязательно пристраивается к игровой комнате, если нет отдельной комнаты. Иногда один человек безвыходно сидит за перегородкой, а переносят банковку из окошечка на игровой стол и обратно подручные банкомета; роль его же самого заключается в том, что он, сняв крышку с банковки и вынув деревянный столбик, поворачивает его в любую сторону и снова вставляет в банковку.

Никто из играющих не знает, как он повернет столбик; а банкомет не знает, куда играющие поставят ставки.

Когда банковка унесена, игроки «делают игру». Вся суть в том, куда поставить деньги и как расположить их на скатерти. Если поставить ставку посреди одного из четырех больших полей, на место, где красуется иероглиф, изобра-

жающий цифру — там выигрыш будет втрое больше ставки, но зато будет и три шанса на проигрыш.

Если поставить на диагональную черту, то выигрыш будет равен ставке, и выигрывают обе стороны, покрытые ставкой; таким образом, будет два шанса на выигрыш, и два шанса на проигрыш.

Если вытянуть монеты в ряд посреди поля, ближе к его нижнему широкому основанию, то выигрыш будет равен ставке, конечно, в случае, если падет на эту же сторону; проигрыш будет в одном только случае, если «красное» укажет на противоположную сторону, а обе боковые стороны будут вничью, т. е. ставки с этих сторон снимаются.

Есть много комбинаций: двойной выигрыш, на два шанса на проигрыш и одна сторона вничью и т. д.

Когда игроки поставят все ставки, тогда дают знать банкомету, и тогда — *rien ne va plus**; он, держа двумя пальцами закрытую банковку, торжественно несет ее и ставит на стол в центре скатерти, но так, чтобы вырез одной ее стороны приходился около зигзага центрального квадрата (эта сторона всегда находится в вершине той трапеции, которая обозначена цифрой 1).

Затем крышечка осторожно снимается, и тогда смотрят, в какую сторону обращена «красная» часть внутреннего столбика — та часть и выиграла.

Независимо от того или другого результата игры, хозяин банковской берет себе всегда 10% со всех ставок при каждом расчете. Конечно, в конце концов, он будет всегда в выигрыше...

Были счастливы, которые много выигрывали в заведении Сунь Сы-цзяна, но были и неудачники, спустившие здесь все до нитки.

К числу последних принадлежал Ли Тай-чан. Это был человек, прошедший через огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. Он побывал и на Зейских, и на неизвестных еще русским «вольных» приисках в районе Алдана, Амгуни и Тунгуски, в трупобах Сихота-Алиня в поисках жены и на

* Здесь: ставки сделаны (фр.). (Прим. сост.).

Чан-бо-шани в компании с корейскими тигровыми охотниками, и в Мауке на промыслах морской капусты у «капустного короля» Якова Лазаревича Семенова, где, пожалуй, было труднее всего... Словом, Ли был калач тертый, которого трудно было чем-либо удивить или испугать. Но он был не преступник и человек не дурной, все время мечтавший о том, как бы ему скорее разбогатеть или заработать хотя бы 500-600 рублей, чтобы затем вернуться к спокойному труду...

Игра в этот день шла крупная. Мелкие игроки, давно уже все проигравшие, стояли толпой вокруг стола и жадно глядели, как несколько крупных игроков вели отчаянную борьбу, перекладывая от одного к другому целые горы палочек с разнообразными зарубками (своего рода марки, часто заменяющие во время игры деньги; под конец игры они вымениваются у хозяина игры на деньги).

Сунь Сы-цзян напряженно следил за ходом игры, чувствуя, что сегодня он или много выиграет, или много проигрывает...

Наконец, игроки, по-видимому, захотели взорвать хозяина. На три стороны скатерти были поставлены большие суммы, и только четвертая осталась совершенно пустой. Слишком мало шансов было на то, что выигрыш падет именно на эту, четвертую...

Банкомет подошел, осторожно неся банковку, и положил ее посреди скатерти на бок, чтобы все могли убедиться, что снизу в ней нет никакой скрытной пружины. Затем он повернул ее и поставил прямо, осторожно приподнял колпачок и стал медленно сдвигать его в сторону...

Воцарилась полная тишина. Глаза всех игроков были прикованы к одной точке; напряженное ожидание достигло высшей степени...

И вдруг банкомет быстрым движением сразу открыл банковку. Все ахнули — выигрыш пал как раз на пустую, четвертую сторону. Выиграл хозяин, а остальные игроки все проиграли.

Как по мановению волшебного жезла, картина переменялась: все пришло в движение, игроки вскочили, замахали руками, зашумели, раздались проклятия. Шум и гам на-

полнили притон. Но хозяин и его прислужники ликовали.

— Что же, господа, — обратился Сунь к посетителям, — будем продолжать игру? Еще не поздно!

— Кто с тобой станет играть; очень уж ты счастливо играешь... Тут что-то нечисто, — сказал кто-то.

— Лучше с духами в аду играть, чем с тобой, — добавил другой.

— Ага, боитесь, — засмеялся Сунь, — вы, я вижу, все бедняки, а я считал вас богатыми купцами!

И вдруг в этот момент случилось то, чего никто не мог ожидать. Ли, сидевший все время неподвижно у стола и сосредоточенно, нахмурив брови следивший за игрой и молча слушавший затем перебранку хозяина с гостями, вдруг резким движением сбросил с себя верхнюю засаленную куртку и оказался обнаженным до пояса.

Это движение обратило на него всеобщее внимание; все невольно затихли и обернулись к нему.

— А, ты думаешь, — сказал Ли хозяину, — что ты всех обыграл и что никто не посмеет больше попытаться счастья? Нет, мы еще померимся с тобой!

И прежде, чем его кто-либо мог остановить, Ли одной рукой выхватил из ножен большой нож, висевший у пояса низко опущенных шаровар, а другой рукой захватил у себя против селезенки как можно больше тела, оттянул его и одним взмахом острого, как бритва, ножа отрезал огромный кусок. Затем он поднял высоко над столом мясо, с которого капала кровь, и бросил его на игорную скатерть на цифру три...

Зажав левой рукой зиявшую рану, Ли снова сел на скамью, опустил голову и сказал упавшим голосом:

— Я поставил свою ставку; играй и ты!

В первый момент лишь мертвое молчание служило ему ответом. Сунь, цвет лица которого из желтого превратился в серый, не мог отвести своих вытаращенных глаз от ужасной ставки. Рот его раскрывался, не произнося ни одного слова...

— Да, да! (т. е. бей, бей) — наконец проговорил он.

И тотчас же куча прислужников, всегда имеющих в

игорных домах и скрывающихся среди толпы под видом зевак, набросилась на Ли, который сидел согнувшись, и стала его избивать откуда-то взявшимися у них в руках короткими железными палками. Били по голове, по плечам, по груди, по спине; били жестоко... Но ни крови, ни кровоподтеков, ни ссадин не было видно, потому что палки были обмотаны тряпками.

Ли закусил губу, побледнел, но не издал ни одного сто-на, ни одного звука.

Наконец, он стал качаться.

— Довольно, — крикнул кто-то из небольшой группы оставшихся гостей (большинство разбежалось, видя, какой оборот принимает дело). — Довольно, вы его убьете, тогда и хозяин навек пропадет!

Сунь махнул рукой, и его сателлиты прекратили избие-ние.

Ли сидел серый, с потухшими глазами и запекшимися губами; обнаженное тело покрылось вздувшимися желва-ками. Под ним на полу набежала порядочная лужа крови. Вот-вот, казалось, он упадет...

Дело в том, что обычай, этот повелитель и тиран не у одних только китайцев, установил, что какую бы ставку про-игравшийся игрок ни поставил бы на кон — хозяин игры не имеет права отказаться от нее, но это нужно сделать не-медленно, не уходя из игры. Конечно, этим обыкновением предполагалось обуздывать аппетиты хозяев.

Но тот же обычай разрешил в подобных случаях бить игрока, поставившего на кон свое собственное тело, но бить не насмерть... Если несчастный не выдержит, бросится бе-жать или начнет кричать, то его ставка считается битой: он проиграл и со стыдом изгоняется.

Если же он выдержит и будет видно, что он скорее ум-рет, чем откажется от игры, то хозяину остается два выхо-да: или рискнуть продолжать игру, или согласиться на все требования игрока... А что, если в первом случае, т. е. если он захочет играть — он проиграет? Придется отрезать кусок собственного тела в три раза больший, чем тот, который лежит на столе... Да ведь сразу точно не угадаешь: или от-

режешь больше, чем нужно, или придется еще дорезывать у себя кусочки, если сначала отрежешь меньше...

— Дайте ему воды, — сказал кто-то, — а то он умрет!

Сбегали за водой и помочили Ли Тай-чану голову. Но он болезненно скривился — очевидно, прикосновение к избитым местам причиняло ему страшную боль, и попросил пить. Ему тотчас же принесли в чашке мутного чая, который он жадно выпил, и, видимо, почувствовал себя гораздо лучше.

— Ну, хозяин, — злорадно сказал один из проигравшихся, — теперь рассчитывайся!

— Сколько? — тихим голосом спросил весь как-то съжившийся Сунь у Ли Тай-чана.

У Ли сразу даже помутилось в голове. Вот он, так долгожданный им случай разбогатеть!.. С невероятной быстротой у него в мозгу пронеслись картины бедности, унижений, каторжного труда на приисках и на море; а там в Шаньдуне, в Хуан-сяни — крошечное поле, голодная семья...

Теперь он купит пять, нет, десять шан земли, оденет всю семью, всю свою землю отдаст в аренду за хорошую плату другим таким беднякам, каким раньше был и он, а сам займется торговлей, или еще лучше — откроет кассу ссуд...

— Ну, сколько же хочешь? — слышит он опять чей-то голос.

Сколько сказать? Сто, двести, пятьсот?...

Вихрь мыслей налетел на него, он не может разобраться в них; он почти потерял способность соображать, что больше, что меньше — а тут думать нельзя, нужно сейчас отвечать, скорей, скорей...

Ли сделал над собой громадное усилие и успел поймать какую-то мысль.

— Шее... с... восемьсот рублей, — выговорил он наконец, сам пугаясь колоссальности названной им суммы.

Сунь медленно встал, вышел из игорного помещения в свою комнату и минуты через три вернулся, бросив на стол перед Ли Тай-чаном восемь засаленных бумажных свертков, обвязанных нитками.

— Считай, — сказал Сунь.

Но Ли сам уже считать не мог: те люди, которые только что его так зверски избивали, теперь поддерживали его с обеих сторон, чтобы он не упал.

— Не нужно, я верю, — сказал Ли и поднялся, чтобы уйти. Но когда он сделал шаг, то покачнулся и едва не упал. Его подхватили, накинули на плечи синюю затасканную куртку, сунули в правую руку засаленные свертки и, осторожно поддерживая, повели к выходу. Он шел неуверенно, как пьяный, продолжая зажимать рану левой рукой, сквозь пальцы которой просачивались струйки темной крови...

— Лай хама (проклятая жаба), — ворчал Сунь Сы-цзян, когда Ли вышел за дверь, — дорого же он продал мне свою падаль... А ну, принесите-ка весы!

Принесли небольшой китайский безмен, употребляемый обыкновенно китайскими разносчиками, и свесили кусок литайчановского тела.

— Господин, ровно один фунт, — сказал один из прислужников, державший безмен. (Китайский фунт почти равняется полутора русским фунтам).

— Дорого-то дорого, — обратился к Суню один из гостей, — а все-таки дешевле, чем стоили бы вам ваши собственные три фунта!

Сунь ничего не ответил, только злобно посмотрел на невежливого гостя.

* * *

Удалось ли Ли Тай-чану прикупить землю и осуществить свои планы — неизвестно. Но только дорожка из крупных алых пятен*, долго видневшаяся на избитом деревянном тротуаре Пекинской улицы, невольно наводила на мысль, что вряд ли его мечтам суждено было осуществиться...

* Эти пятна автор сам видел.

IV

НЕ ОЖИДАЛ

Всевозможных притонов, опекурилен, банковок и тому подобных «злачных» мест весьма много в каждом городе на Востоке, а особенно портовом. Содержатели этих притонов — настоящие акулы, старающиеся всеми силами заманить к себе «клиентов» из числа рабочих, несущих сюда свой заработок, матросов, стремящихся развернуться на берегу после плавания, прислуги, потихоньку перетаскивающей сюда хозяйское добро, а больше всего из того элемента, который побывал далеко, видал всякие виды, и который обыкновенно летом где-то работает, а зимою отдыхает и прогуливает деньги. Где именно летом он работает — этого вы не узнаете, потому что такой субъект никогда точно вам не укажет ни места, ни рода работы... Но что эта «работа» бывает выгодна — это видно, потому что такими «клиентами» пропускаются иногда в притонах большие суммы.

Конечно, не все притоны работают одинаково. Казалось бы, все они созданы по одному шаблону: те же игры, то же полное отсутствие удобств (не только публике, но даже играющим часто присесть негде), вечно под угрозой появления полиции, а вот поди ж ты: некоторые вертепы буквально ломаются от народа, не будучи в состоянии вместить всех посетителей, а другие не могут собрать даже достаточного количества людей, чтобы открыть игру, и вынуждены оперировать всего два-три часа в сутки, а то и через двое суток в третьи.

Такое неравномерное распределение игроков между притонами объясняется многими причинами. Укромное местоположение, удобный двойной выход, веселый нрав хозяина, а больше всего — случаи уплаты хозяином счастливым игрокам крупных сумм — привлекают массу людей...

Конечно, хозяева малопосещаемых «заведений» часто злобствуют против своих счастливых товарищей; акула ненавидит акулу, и между ними происходят иногда трагедии.

В 1901 году в том же Владивостоке произошел такой случай.

На Алеутской улице, в доме всем известного богача Качан (быть может это не фамилия, а прозвище) довольно долго существовал игорный дом Лю Цин-цзана. Этот Лю был исключением между своими товарищами по ремеслу: небольшого роста, худощавый, добродушный, всегда спокойный и веселый, он пользовался не только расположением, но даже любовью всех своих гостей. Не было случая, чтобы он в своем «заведении» кого-либо обсчитал или как-либо обидел. Драка между посетителями в счет не идет: в игорных домах это дело обычное, и никто на это не обижается — это ведь не опиекурильня, где царит покой и тишина...

Конечно, эти личные свойства Лю Цин-цзана привлекали к нему и заставляли раскрываться не только сердца его гостей, но и четырехугольные, расшитые иногда шелками кошельки, висевшие у каждого китайца на голой груди на шнурке, перекинута через шею.

Дом Лю Цин-цзана был всегда битком набит желающими испытать свое счастье в бао-хэ-цзы («игорную коробочку»), и Лю непрерывно богател, хотя посетители не раз срывали у него значительные суммы. Но это только служило ему на пользу, потому что стоустая молва увеличивала во сто раз суммы, выплаченные тароватым хозяином банкочки, и это, конечно, привлекало в его «дом» еще большее количество гостей.

А невдалеке от дома Качана был другой игорный дом. И место, кажется, было хорошее, и устройство не хуже, чем у Лю, и хозяин не в пример виднее, чем Лю, а вот поди же: у Лю нет места не только за столом, но даже и в комнате, а к Пань Ю-лину зайдет всего пять-шесть человек, и только, так что незачем и игру начинать.

Пань еле-еле сводил концы с концами и едва мог платить домохозяйину за наем квартиры. Этого было достаточно, чтобы Пань возненавидел Лю Цин-цзана всеми фибрами своей души.

Пань Ю-лин был человек высокого роста, крепкий, с грубыми чертами лица, обладавший большой физической си-

лой. Характер у него был невыносимый: раздражительный, вспыльчивый, несдержанный. При малейшем поводе, а то и без всякого повода, ему ничего не стоило не только облатать человека такой ужасной китайской бранью, о которой европейцы не имеют представления, но даже пустить в ход силу. Отпора ни от кого он не встречал, потому что никому не хотелось слишком близко познакомиться с кулаками «бешеного Пана», как его за глаза называли его знакомые.

Прошрое его было очень темно и из уст в уста передавались целые легенды о том, как он бежал от какого-то конвоя, который он перевязал во время сна и весь перебил; как он бежал из какой-то тюрьмы, прыгнув со стены прямо на часового или сторожа и задавил его, и тому подобное.

Все эти рассказы передавались на ушко, и, конечно, только увеличивали страшную славу Пана и окружали его каким-то каторжным ореолом, благодаря чему никто не рисковал связываться с ним, и все его выходки сходили ему с рук.

Но этим же объяснялся и неуспех его банковки; кому была охота рисковать каждую минуту столкнуться с диким нравом хозяина притона?

Но Пань этого не понимал, и свой неуспех приписывал тому, что Лю «переманивает» от него гостей.

Пань ежедневно заходил в дом Лю. Наблюдая за игрой и за крупными суммами, свободно перебрасывавшимися от одного игрока к другому, причем десять процентов неизменно оставались в кармане Лю, Пань часто не мог сдержать себя. Он всячески бранил Лю.

Однажды Лю не выдержал и резко ответил Пану. Тогда последний бросился на Лю и, несмотря на присутствие толпы людей, в общем весьма расположенных к Лю, Пань его жестоко избил. Никто не рискнул заступиться за Лю Цинцана — кому была охота сцепиться с бешеным!

С этого времени не проходило дня без того, чтобы Пань не приходил в дом Ка-чана, и под тем или другим предлогом не избивал Лю.

Все обычные посетители стали привыкать к этому и ждали обычного прихода Пана, как в театре ждут выхода попу-

лярного актера...

Но сам Лю почему-то к этому не привык. Он бледнел, желтел и еще более худел; из веселого, общительного он сделался задумчивым и угрюмым. Даже к игре он стал относиться безучастно; и видно было, что в самый горячий момент, когда банкомет медленно снимает крышку бао-хэ-цзы и жадные взоры игроков устремлены в одну точку, его мысль была далеко от этой потной, пахнувшей чесноком и травяным маслом, грязной толпы...

Однажды Пань, по обыкновению, зашел в «дом» Лю часов в девять вечера. Подойдя сбоку к хозяину, он, ни слова не говоря, размахнулся и ударил его кулаком по лицу.

Все притихли. Лю схватился руками за лицо, и сквозь пальцы закапала кровь из разбитого носа.

Игра остановилась, но никто не шелохнулся. Тогда Пань, презрительно и злобно усмехнувшись, спокойно вышел из комнаты.

Жена Лю взяла стоявшую тут же в углу на маленьком столике чашку с теплой водой, в которой плавало полотенце, служившее для вытирания лица гостям, и, всхлипывая, стала помогать мужу смывать кровь с лица.

Когда Лю вытерся, ставки уже были поставлены: гостям нет дела до личных чувств и переживаний «хозяина» — они ведь пришли сюда для развлечения и выигрыша. ..

Игра пошла своим чередом, только Лю не говорил ни слова, а всем распоряжался «банкомет».

Поздно вечером того же дня в «бао-цзюй» (т. е. «игорную контору») качановского дома пришли несколько корейцев-носилыщиков поразвлечься после трудового дня и попробовать свое счастье. Рогульки, на которых они на спине перетаскивают тяжести, они поставили в коридоре у самых дверей, ведущих в игорную комнату. Другая дверь (или вернее — пролет) из того же коридора, закрытая по китайскому обыкновению лишь ватной занавеской, вела в соседнюю комнату, где помещался Лю с женой.

Часов в двенадцать ночи, закрыв свою «лавочку» за отсутствием гостей, Пань снова пришел в дом Качана. Он был взбешен больше обыкновенного, потому что незадолго до

закрытия своего дома, один из его немногочисленных посетителей выиграл с него такую сумму, что он не мог даже всего выплатить наличными деньгами, а отдал еще кое- что из вещей.

Желая сорвать свою злобу на своем, как он думал, сопернике, Пань вошел в игорный дом. Но Лю там не было.

«А, прячется от меня», — подумал Пань, и волна злобы подступила к его сердцу. Он вышел в коридор и приподнял занавеску в стенном пролете, ведущем в комнату Лю.

Да, Лю был здесь. Он перелистывал книгу счетов, жена его приготавливала постель на кане.

Пань вошел в комнату. Едва Лю, заслышав шаги, успел повернуть голову, как Пань ударил его по лицу. Лю покачнулся. Жена его, услышав отвратительный звук удара, бросила свое дело и закричала, узнав врага своего мужа. На ее крик прибежал кое-кто из игорной комнаты. А Пань, между тем, снова ударил Лю, еще и еще; и с каждым ударом бешенство и ненависть поднимались в нем все с большей силой.

— Да помогите же, — крикнула женщина.

Но никто из прибежавших не рисковал сцепиться с Паном.

Тогда женщина бросилась к нему и повисла на его руке, готовившейся нанести новый удар ее мужу. Пань выбралил ее скверной бранью и так толкнул, что бедная женщина покатила на пол.

Падение жены вывело Лю из пассивного состояния. Глаза его заблестели, он как-то вырос.

— Нет, конечно, — закричал он, — я больше терпеть не буду!

Он бросился к своей постели на кане и вынул из-под ватного одеяла, служившего матрасом, большой нож в деревянных ножнах, с приделанными к ним палочками для еды (с которым обыкновенно китайцы отправляются в тайгу). Выхватив нож из ножен, он хотел броситься на стоявшего посреди комнаты Паня, изумленного неожиданной переменой в Лю. Но жена Лю, успевшая уже подняться с пола, уцепилась за руку мужа.

— Не надо, умоляю вас, не надо, — упрашивала она.

— Нет, старуха, пусти меня, я не могу больше терпеть, иначе все равно он меня убьет. Так или иначе, все равно пропадать; ну, так уж лучше я его убью, чем он меня! — И он стал вырываться у жены.

Пань, видя, что дело приняло неожиданный и весьма серьезный для него оборот, повернулся и выбежал из комнаты.

Лю вырвался от жены и бросился за Паном в коридор.

К несчастью для Паня, он наткнулся на прислоненные к стене рогульки корейцев, уронил их, споткнулся, упал на пол и долго не мог подняться, запутавшись в рогульках и перевязывавших их веревках. Лю подбежал к нему и, не глядя, ударил его куда-то два раза ножом, а затем, бросив нож в угол, вышел на улицу.

Наконец, Пань поднялся и, спотыкаясь, вошел в игорную комнату. Там игра уже прекратилась: все знали, что происходит что-то неладное.

Вид Паня был растерянный донельзя.

— Как же это, — обратился он к игрокам, обводя их недоумевающим взором, — могло случиться? Я убил двадцать три человека, и никто не мог мне ничего сделать, а теперь вдруг меня самого убили... да еще такой смирный человек... Что же это такое?...

Он был жалок, и этот контраст между его прежним торжным величием и теперешней беспомощностью был так велик, что от него все сторонились, как от зачумленного.

Прошло несколько минут, во время которых наиболее робкие улизнули из притона, а другие, болезненно жадные до всякого, особенно кровавого, зрелища, оставались в комнате: все их существо, как у зрителей в театре во время хода захватывающей пьесы, стремилось узнать развязку трагедии, разрывнувшейся перед их глазами на житейской сцене...

На полу, под ногами у Паня, показалось пятно крови и скоро он стоял посреди кровавой лужи.

— Эй вы, шпана, где тут убитый? — неожиданно раздался зычный голос полицейского, который незамеченным вошел в игорную комнату. Стоявший всегда на карауле у вхо-

да китаец сошел со своего поста, заинтересованный событиями в игорном доме, и пропустил полицейского, не предупредив условным знаком о его приближении.

Полицейскому указали на прислонившегося к стене Пань Ю-лина.

— Ты убитый? — обратился к нему блюститель порядка, — пойдем! — и взяв его под руку, он вывел Паня на улицу, где уже стоял наряд полиции с носилками, сделанными наскоро из двух палок и нескольких досок от керосинных ящиков.

Ослабевшего Паня положили на носилки и отнесли в больницу, где он через несколько часов и умер. Когда с него снимали платье, то за пазухой в особом кармане нашли заряженный револьвер. Очевидно, он так растерялся при неожиданном нападении Лю, что совсем забыл о револьвере... Утром на квартире у него был сделан обыск, и там нашли еще два револьвера, пашку казенного образца и кавказский кинжал.

Впоследствии один из завсегдатаев банковок, бывший хунхуз, говорил, что Пань Ю-лин был когда-то известным хунхузом, погубившим массу народа и променявшим, наконец, громкий, но опасный титул «дан цзя-эр» (атамана хунхузской шайки) на скромное, но «честное» положение содержателя игорного дома.

Во всей этой истории остался невыясненным один вопрос: почему полиция явилась так скоро на место происшествия?

Ларчик открывался весьма просто. Выйдя из своего «заведения», Лю Цин-цзан бегом побежал в полицию и заявил, что он сейчас убил человека, и тут же сам просил и торопил, чтобы послали носилки, так как «убитый, быть может, еще жив, и ему можно помочь».

Полицейское управление от места происшествия находилось очень близко, и готовый наряд полиции поспешил, по просьбе Лю, бегом к дому Ка-чана...

Дальнейшая судьба Лю Цин-цзана неизвестна.

МЕЧТЫ

Владивостокские старожилы помнят, что много лет тому назад, около участка, занятого ныне Русско-Азиатским банком, стояла почтовая станция. Одна сторона станционной усадьбы выходила на Ланинскую улицу, шедшую от Алеутской улицы к берегу бухты. На этой улице выросла в землю низенькая, невзрачная фанза. Немного ниже стояла старая, одноэтажная бревенчатая казарма, выстроенная матросами с фрегата «Светлана» (давшего свое название единственной когда-то во всем городе улице). Впоследствии над этой казармой надстроили второй этаж и превратили ее в школу. Тут же, на самом берегу, стояло построенное капитаном Унтербергером* земляное укрепление, цель которого была обстреливать оба конца бухты Золотой Рог.

Весь этот район был сплошь занят китайским базаром. Китайские лавчонки — маленькие, грязные, кое-как сколоченные из ящиков или из старого барочного леса, покрывали всю площадь, занятую ныне садом и складами.

Вот эта-то близость центра китайского муравейника и давала жизнь старой фанзе на Ланинской улице, около которой по вечерам всегда толпился народ, потому что в этой фанзе была банковка самая лучшая, самая большая и самая «честная» в районе базара.

Содержал эту банковку Цзю Лин-вэнь. Он делал недурные дела: кроме игорного «предприятия», которому он посвящал вечера, предприимчивый Цзю вел еще довольно значительную торговлю женьшенем, пантами, мускусными мешочками кабарги, оленьими хвостами, желчью, костями и когтями тигра и тому подобными продуктами охоты (пото-

* Впоследствии — губернатором Приморской области, и наконец — генерал-губернатором Приамурского края.

му что добывание женьшеня — это тоже своего рода охота, иной раз потруднее, чем охота на тигра).

Так как весь этот товар шел, главным образом, с северо-востока, со стороны Сучана, то Цзю Лин-вэнь был знаком чуть ли не со всеми зверовщиками и охотниками северного побережья.

В числе его близких знакомых был и некий Ван Сяо-и, семидесятилетний старик, у которого на реке Да-у-хэ была довольно большая фанза. Ван тридцать лет жил на Да-у-хэ, скопил порядочно денег и теперь, чувствуя, что смерть уже не за горами, решил ликвидировать свои дела и вернуться на родину, в Дэн-чжоу, где в уезде Хуан-сянь, близ местечка Хуан-чжэн-ци, находилась его родная деревенька Ма-пзя-цзы...

Родных детей у него не было, но он когда-то усыновил своего племянника, и род его, таким образом, не прекратится. Но он знал, что его приемный сын живет очень бедно и не мог бы как следует похоронить его, старика...

Да, не мог бы племянник, если ему в этом не поможет он, старый Ван... Ведь порядочный гроб в Дэн-чжоу стоит не меньше ста лян серебра! А во что обойдется поминальный обед, бумажные лошади и коровы, которые нужно сжечь на могиле и все прочее, чему полагается быть на приличных похоронах? «Нет, нужно ему помочь; да поскорее, а то еще умрешь здесь вдруг невзначай, пожалуй, еще и гроб с моим прахом не отправят в родную землю, и придется здесь гнить на чужбине!»

Старик распродал все, что у него было: и скот, и фанзу, и распаханную землю, и запасы зерна, и весь инвентарь, не продал он только табак последнего урожая: очень уж хороший табак уродился у него в этом году, и он решил везти его во Владивосток, где на табак всегда стояла хорошая цена.

Написал старик с оказией письмо своему приемному сыну, чтобы тот ждал его приезда, а сам погрузил свой табак в устье Да-у-хэ на джонку, зашил свертки кредиток в одежду и отплыл в Хай-шэнь-вай (буквально — «трепанговая бухта», так китайцы называют Владивосток).

Крепился старик, виду не показывал, как ему было тяжело, когда он в последний раз обходил фанзу, конюшню и сарай, выстроенные собственными его руками, и которых он больше никогда не увидит... Но когда джонка прошла мимо двух островов, лежащих против устья реки, и обогнула мыс Хитрово, у старого Вана точно что-то оторвалось от сердца, и спазмы сдавили горло. Но старик, как истый китаец, привыкший с детства не выказывать своих чувств, ничем не выказывал своего горя и, чтобы заглушить его, стал высчитывать, какой капитал привезет он сыну.

У него зашито в одежде 800 рублей, да с сотню лежит на груди в кошельке для расхода. Табаку у него, по самый скромной расценке, рублей на 700. Следовательно, он привезет в Ма-цзя-цзу не менее полутора тысяч рублей... Это такой капитал, который сразу поставит на ноги хозяйство сына, даст возможность прикупить порядочный кусок земли, и еще останется довольно, чтобы купить хороший гроб и справить отличные похороны...

Мысли старика приняли другое направление и он успокоился, погруженный в планы устройства воздушных замков в милом его сердцу Шань-дуне.

Через два дня джонка вошла в Золотой Рог, и Ван Сяо-и остановился у своего друга Цзю Лин-вэня, с которым он давно был знаком.

Когда Цзю узнал, что его старый приятель продал фанзу и ликвидировал все свои дела на Да-у-хэ, он сообразил, что у старика должна быть с собой порядочная сумма денег. Кроме того, груз табаку также представлял собой целый капитал...

И Цзю решил во что бы то ни стало «облегчить» старика. С этой целью он хорошенько угостил его, подпоил, а затем повел посмотреть, как в его заведении играют в «я-хуй» (банковку).

Видя, как крупные суммы переходят из рук в руки, старик взволновался. Конечно, он много раз в течение своей долгой жизни видел, как играют, и сам в дни молодости игрывал не раз, но теперь, имея в руках крупную сумму и занятый денежными расчетами, он как-то сильнее, острее и

болезненнее воспринимал все, что касалось денег.

Цзю внимательно наблюдал за стариком и отлично понимал, что с ним делается.

— Попробуйте счастье, лао-гэ (старший брат), — сказал он.

— Ну, я не умею, — отговаривался старик, хотя ему страшно хотелось поставить несколько рублей на эти бесстрастные, но обладавшие каким-то мистическим смыслом, загадочные, живые существа — цифры на игровой скатерти, несущие одним счастье и богатство, а другим — горе и разорение...

— Ничего, — подбадривал его Цзю, — я помогу!

Старику казалось неудобным отказываться дольше от любезного предложения хозяина, да и хмель ударил ему в голову; обычная осторожность и прижимистость крестьянина покинули его — он поставил небольшую ставку на диагональную черту между цифрами 1 и 2.

Он выиграл столько же, сколько и поставил.

— Поздравляю, поздравляю, — говорил Цзю, — видите, у вас есть счастье!

Старик снова поставил на «ординар» и снова выиграл сумму, равную ставке.

— Ставьте тройную, ставьте тройную, — уговаривал Цзю.

Необычайное волнение, жадность к деньгам, выпитое вино, прирожденный, долго подавляемый азарт, наконец, сделали свое дело; старик стал беспорядочно бросать ставки одну за другою на разные цифры, проигрывал и выигрывал...

Только поздно ночью оторвался он от стола и то только потому, что пора было закрывать бао-цзюй. Он был в крупном проигрыше.

Как пласт, свалился он на кан в комнате своего «друга» и, вопреки многолетнему обыкновению, проснулся на другой день не с рассветом, а проспал до полудня.

Встал он с сильной головной болью и еще большей тоской; он помнил, что проигрался вчера; сколько — он не знал, но что-то очень много...

Цзю Лин-вэнь отлично видел, что делается с Ваном, и старался его ободрить.

— Успокойтесь, г. Ван! Разве можно терять присутствие духа при самом малом испытании судьбы? Поверьте, никогда счастье не приходит сразу, одной волной; вы только не отступайте, а боритесь — и наверное выиграете!

— Нет, нет, — возражал Ван, — с меня довольно; я не умею играть, да и судьба против меня!

Но когда за обедом Цзю снова подпоил старика, Ван успокоился и ему показалось, что мир не так уж плох, как он думал раньше. Почему бы, в самом деле, ему не попробовать вечером вернуть потерянное?

И он с нетерпением стал дожидаться вечера.

Кончился долгий, томительный день. Потянулись ночные тени, а вместе с ними и к фанзе Цзю Лин-вэня потянулись несчастные, проигравшиеся прежде — чтобы вернуть свой проигрыш; счастливые, выигравшие раньше — чтобы увеличить свой выигрыш; носильщики, возчики, грузчики — чтобы найти забвение после трудового дня; повара — чтобы поставить ставку на украденные сегодня от господского стола деньги; наконец, людские шакалы — рыцари ночи и большой дороги, словом, весь этот темный люд, профессии которого иногда определить не было возможности.

В обычное время началась игра. Ван Сяо-и долго крепился и старался не показывать вида, как его тянет в игорную. Он слонялся из угла в угол и не находил себе места. Наконец, он не выдержал и пошел в игорную комнату.

На молчаливый вопрос встретившего его Цзю Линь-вэня, Ван конфузливо отвечал:

— Я только хочу посмотреть, как идет игра!

— Пожалуйста, г. Ван, присядьте сюда, тут вам видно будет, — сказал Цзю, пододвигая старику маленькую высокую скамейку.

Цзю торжествовал — он знал, что Ван не выдержит и начнет играть. Не все ли ему равно, выиграет Ван или проигрывает — ведь все равно, 10% ставок перейдут в его, хозяйский, карман!..

Игра шла своим чередом. Игорные палочки-марки целыми кучами переходили из рук в руки.

«Почему бы мне не попробовать, — думал Ван, — толь-

ко попробовать: будет мне сегодня везти или нет? Поставлю маленькую ставку, проиграю и уйду; потеря будет невелика!»

Старик дрожащими руками поставил свою ставку, и — выиграл. Особая атмосфера игорной комнаты, пропитанная потом, чесноком, опиумом и еще чем-то раздражающе пахучим охватила старика и кружила ему голову. Вся толпа представляла собою батарею, а каждый игрок — элемент, заряженный до отказа игорным азартом; общий сложный ток был настолько силен, что Ван не в силах был владеть собою, и стал без передышки бросать на стол одну ставку за другою.

На следующий день старик проснулся поздно. Налитая свинцом голова болела больше прежнего, все члены ныли и отвратительное чувство тошноты переворачивало внутренности. Он не сразу вспомнил, чем кончился вчерашний день.

Но, вдруг, его сознание как молнией прорезала мысль: «Проиграл! Все проиграл.... А табак? — цеплялась мысль за якорь спасения, — табак весь еще остался?»

Ван помнил, что у него был какой-то разговор о табаке с хозяином, что он какие-то деньги брал у него под табак и отдавал, и опять брал; но чем это кончилось — никак вспомнить не мог.

Ван поспешно встал с кана и пошел к Цзю.

— А, вы уже встали, — приветствовал его хозяин, — садитесь, пожалуйста!

— Господин Цзю, — обратился к нему Ван, — скажите, пожалуйста, не должен ли я вам за табак?

— Нет, господин Ван, — ответил Цзю, лицо которого из приветливого сделалось вдруг строгим, — вы мне ничего не должны.

— Значит, я могу...

— Да, — перебил его Цзю, — вы можете не беспокоиться: я приказал выгрузить его с джонки и уже продал его другому лицу.

— Ка-ка-ак продали? — вытаращил глаза Ван; какая-то сила сжала ему кожу на голове и холодная дрожь поползла по спине.

— Ну да, продал! Почему же я не мог бы этого сделать? Вы мне продали табак за 500 рублей, деньги я вам все отдал — вот и свидетели есть!

— Да, да, это было при мне, при нас, — раздались голоса сидевших у хозяина нескольких китайцев...

Несчастный старик сел на кан, охватив колени руками. Слезы капали из глаз, мыслей не было, все тело было лишь каким-то аппаратом для ощущения страдания.

Долго он так сидел, не произнося ни звука; наконец встал и, как во сне, вышел на улицу. Свежий воздух чуть-чуть прояснил голову.

Так вот оно где, будущее благополучие семьи его сына! Вот где его радостный приезд, беспечальное житье до конца дней и красный, лаковый гроб. ..

В каком-то тумане шел старик, не зная, куда и зачем, и очнулся только тогда, когда прошел за кирпичный завод в Гнилом углу и дорогу ему перегородила Речка Объяснения.

На берегу стоял ветвистый дуб, под которым торчал полусгнивший пень сваленного бурей и тут же гниющего другого дерева.

Старик сел на пень и огляделся. Перед ним на северной стороне бухты были группами разбросаны немногочисленные маленькие, кое-как сколоченные домики Матросской слободки; ниже их, ближе к воде — несколько деревянных зданий Морского госпиталя; дальше к западу — пустырь, и опять дома, уже настоящего «города» Владивостока, или, вернее, трех городков, разделенных один от другого глубокими оврагами и пустырями. На рейде «Трепанговой бухты» стоят два небольших военных паровых судна, которых лодочники называли «Е-ла-ма-ка» и «Во-со-то-ка», а далее, на изгибе бухты, громадное судно, целый плавающий город — «Оу-ло-ба» (Ермак, Восток и Европа), все четыре мачты которого сверху до низу были одеты тысячью сушившихся парусов...

Тишина была полная: ни ветерка, ни звука не доносилось из этого чуждого, непонятного иностранного города, в котором, вероятно, на каждом шагу находятся такие же ямы для честного человека, какие он сам делал когда-то в лу-

ЦЗЯО*.

* * *

Жизнь всех людей так далека от него и непонятна... Ну что же, и он отойдет от них... Ведь ничего больше не связывает его с этим миром! Около него никого нет и не будет: следовательно, можно обойтись и без обрядов — лишь бы только явиться «на ту сторону» целым, не повредив тела. ..

Старик снял с себя длинный пояс, влез на пень и стал пристраивать петлю на дубовом суку. Несколько раз он останавливался — усталые руки затекли от поднятого положения и отказывались служить, но, наконец, он укрепил петлю, надел ее на голову и спрыгнул с пня.

* * *

Через два дня в игорный дом Цзю Лин-вэня пришел рабочий с кирпичного завода и, между прочим, рассказал, что за заводом повесился на дереве какой-то старик. По тем приметам и описанию одежды, которые сообщил рабочий, некоторые завсегдатаи игорного притона сделали предположение, уж не старик ли это Ван Сяо-и, недавно здесь проигравшийся? Когда же оказалось, что Ван пропал без вести, то предположения превратились в уверенность.

Все смотрели на Цзю и ожидали, что он скажет. Но ни в этот день, ни на другой Цзю ровно ничего не предпринимал.

* Лу-цзяо — изгородь из хвороста, тянущаяся иногда на десяток верст поперек зверовых троп. Местами в ней делаются проходы, в которых выкапываются обложенные срубом и замаскированные сверху ямы. Зверь, особенно олени (по китайски — «лу»), стремясь пройти через изгородь, попадает в эти ямы и делается добычей зверопромышленника.

Наконец, на третий день кто-то его спросил:

— Господин Цзю! Ведь старик Ван был вашим добрым знакомым, не следует ли вам похоронить его с честью?

— Кто вам сказал, — злобно возразил Ван, — что он был моим другом или даже старшим братом?.. Мало ли здесь нищих, какое мне дело до них! Хороните сами того бродягу, если хотите!

Слушатели были возмущены; ведь все же знали, из-за чего Ван повесился. Но спорить с «хозяином» не приходилось...

Тогда двое из них пошли в Гнилой Угол, чтобы вынуть тело старика из петли и похоронить.

Когда они пришли на указанное рабочим место, то оказалось, что они немного опоздали: тяжесть тела нагнула ветку так, что ноги покойника почти касались земли. Собаки стали рвать труп; пояс развязался, труп упал и теперь лежал на земле, объединенный собаками.

Один из пришедших сходил на завод за лопатой, и кости Ван Сяо-и были закопаны тут же, как раз около того места, где вскоре через речку был выстроен мост, сделавшийся впоследствии модным местом свиданий, а сама речка получила название «Речки Объяснения».

VI

МАЛЫШ

Его звали Сяо-эр, т. е. Малыш. Это одно из самых распространенных «детских» имен у китайцев, но почему не переменили его на «школьное» имя (ведь он — правда, очень короткое время, — но все-таки учился в школе), а затем не дали ему имени взрослого человека, когда он стал сам себе хозяином — неизвестно. Вероятнее всего, потому, что некому было давать...

Подгоняемый жестокой нуждой, отец его бежал из Шань-дуна в обетованную страну глупых, но щедрых мао-цзы лоча («косматых леших») во Владивосток. Здесь отец вступил в конкуренцию с корейцами, таская грузы на пристани, а мальчик торчал у дверей магазинов с корзинкою. При появлении дамы с маленькими пакетами, он выхватывал из рук растерявшейся дамы покупки, и со словами «шибуко цисяло» (очень тяжело) деловито укладывал их в свою корзинку и решительно шагал за «мадамой»... «Далеко-далеко», — уверял он, пройдя шагов двадцать... Особенно часто его можно было видеть у дверей магазина Лангелитье — красного дома, занимаемого ныне Городской управой.

Отца он видел только на ночлеге в какой-либо грязнейшей ночлежке на Семеновском покосе (так назывались ужаснейшие китайские трущобы, занимавшие сплошь весь район нынешнего базара).

В 1891 году его отец умер от холеры, и бедный мальчуган теперь только испытал, что значит жить на чужбине без всякой поддержки.

Чем и где только он не был! Был и бойкой, и нянькой, и прислужником в опиекурильне, и даже... не стоит и говорить, какие профессии он не перепробовал, и все неудачно. Не то, чтобы он не умел приноровиться к той или иной работе, нет! Он был весьма смышленным мальчуганом, но излишняя живость, экспансивность, а также обидчивость и быстрое реагирование на всякие внешние моральные или

физические воздействия мешали ему приспособиться к окружающей его среде. То бросит ребенка, вверенного его попечению, и тот нос себе разобьет, то перепутает опиум в курильне и даст гостю чистый опиум, забыв перемешать его с выгарками, или вместо опиума даст только ляо-цзы (суррогат, примешиваемый к опиуму), то «забудет» отдать своей барыне сдачу, когда его пошлют за чем-нибудь в лавку или «потеряет» ее и т. д.

Конечно, его отовсюду изгоняли, а частенько и поколачивали...

Как-то раз пошел он на пристань и зазевался на джонку, прибывшую из Да-Холувайя (залива Св. Владимира). Двое рабочих выгружали плотные, упругие, как резина, табачного цвета свертки морской капусты, кое-где покрытые выступившим из нее налетом соли. Характерный, пряный запах морской капусты до головокружения дразнил аппетит голодного мальчугана...

Долго он смотрел, и наконец решился. Не говоря никому ни слова, он быстро взошел на борт джонки по перекинутой с берега длинной, гибкой доске, подошел к открытому переднему люку, из которого кто-то снизу подавал на палубу капусту; подняв с трудом одну пачку, взвалив ее на одно плечо, быстро, едва не упав, сошел по вибрирующей доске на берег, и глядя на других рабочих, аккуратно положил пачку на верх выставшего тут же на берегу большого пирамидального бунта капусты.

Никто ничего не говорил и не мешал мальчику работать. Скоро пот ручьем бежал с мальчика, но он только утирался, когда соленые капли заливали ему глаза, и с детской энергией продолжал таскать пачки.

На брандвахте раздался звон четырех склянок, тотчас подхваченный во всем порту; на всех судах, коммерческих и военных, поднялся перезвон: тонкие, басистые, то медленные, солидные у больших судов, то торопливые, лающие, забегающие вперед у морской мелкоты: все они возвещали полдень, прекращение работ, отдых, а главное — обед, обед...

Привыкшие к портовой жизни рабочие-китайцы на всех джонках тоже прекратили работу, расходились группами и,

присев на корточки в тени вытащенной на берег для конопатки лодки или у какого-либо склада, раскуривали крохотные трубки с длинными чубуками в ожидании, когда «даши-фу» («великий наставник», т. е. повар) позовет их обедать.

Сяо-эр вместе с двумя другими рабочими «своей» джонки также уселся в тени бунта капусты, и с тоской думал: дадут поесть или нет?

— Чи-фань, чи-фань, — крикнул голос с баржи, и рабочие тотчас неторопливой походкой двинулись на джонку. Сяо-эр пошел с ними.

Крышка с кормового люка была снята. Мальчик заглянул вниз: сейчас же под палубой, посреди люка, стоял глинобитный очаг, в который был вмазан открытый плоский чугунный котел. В нем что-то шипело и жарилось, распространяя невыразимо вкусный запах сои, чеснока, бобового масла и еще чего-то.

У мальчика заняло под ложечкой, закружилась голова и такая слабость овладела всем телом, что ноги невольно подогнулись и он сел на приподнятый борт люка.

— Там будешь мешать — садись сюда, — грубо сказал чей-то голос, и мальчику указали место около белой с синими разводами широкой чашки, на которой лежали две куай-цзы (палочки для еды).

Больше никто ничего ему не говорил, но в его чашку усиленно подкладывали быстро исчезающую пищу.

Никогда Сяо-эр не едал такой вкусной, серой лапши, длинные клейкие полосы которой как-то сами втягивались прямо в желудок, без участия зубов; было еще что-то очень вкусное, но что — мальчик уже не разбирал: он поглощал все, что ему ни подкладывали...

Вскоре Сяо-эр почувствовал, что хотя ему и еще хочется, но больше он уже есть не может: желудок был переполнен. Теперь только мальчик почувствовал страшную усталость; он свалился на бок и тут же заснул, заснул как убитый.

Вечером мальчик снова работал, но уже сознавая себя хозяином своего положения... Вместе с другими ужинал, спал вместе с рабочими в среднем, большом трюме, из ко-

торого морская капуста была уже выгружена, и вместе с ними утром проснулся.

Начался новый день, принесший мальчику новые заботы. Ему хотелось бы, чтобы груз джонки был неисчерпаемым, а между тем, к полудню вся капуста была уже выгружена, и большая, как крыша фанзы, куча капусты, покрывавшаяся на ночь сверху брезентом, красовалась на берегу.

«А что же дальше?» — холодком заползло в сердце мальчика, и он боялся искать ответа...

Под вечер шкипер джонки — рябой, широкий китаец с почти черным обветренным лицом и удивительно громким голосом, — куда-то отлучился. Вернулся он, когда уже стемнело. Он как будто был не совсем тверд на ногах и ворчал какую-то брань. Спустившись в носовой трюм, где у него под самой палубой было помещение — нечто вроде ящика, в котором он едва мог поместиться, шкипер влез в него, и через минуту его равномерный храп возвестил, что хозяин судна крепко спит.

Рано утром мальчик, ежась от ночного холодка, был разбужен громким голосом шкипера. Выбравшись на палубу, Сяо-эр увидел обоих своих товарищей-рабочих за необычным делом: они приводили в порядок на обоих мачтах большие паруса, лежавшие вместе с реями большими толстыми свертками посередине вдоль судна, и разбирали перепутанные снасти. Из отрывочных распоряжений шкипера он понял, что джонка, вероятно, сегодня выйдет в море.

— Держи эту веревку, — услышал он голос шкипера. Мальчик бросился исполнять приказание, и с этой минуты был поглощен новой, заманчивой для него своей новизной, судовой работой.

Через час сняли с берега якорь, а брашпилем, укрепленным на концах поднятых по бокам открытой кормы крыльев, выходили другой, занесенный с кормы якорь, четыре железные лапы которого были похожи на ноги краба; осторожно лавируя между другими джонками при помощи двух огромных плоских кривых весел, положенных на кормовом брусу на железные шипы с круглыми головками, джонка выбралась на свежую воду. Поднятый до того времени

руль спустили в воду. Работали все: и оба работника, оказавшиеся матросами, и повар, и сам хозяин, ставший на руль. Подняли паруса, и джонка, бывшая до того времени тяжелой и неуклюжей, вдруг переродилась; она сразу стала легкой, подвижной, поворотливой, послушной малейшему желанию и движению руки своего хозяина; она ожила, в ней проснулась спавшая до того времени душа...

Мальчик с восторгом следил за тем, как без малейшего толчка и шума, плавно, но быстро джонка скользила по поверхности спокойной воды; пожалуй, в ее движение трудно было бы даже поверить — если бы не быстро бежавшие мимо другие суда, стоявшие на якоре, не переменявшиеся непрерывно декорации на берегу, передвигавшиеся в одну сторону, да не легкий водоворот с вращавшейся дырочкой посередине, который следовал все время непосредственно за стержнем руля, и от которого с едва слышным журчанием бежала назад струйка воды.

Никто мальчика не спрашивал, хочет ли он идти на джонке или нет. В первый же день его появления на судне во время разгрузки шкипер понял, что Сяо-эр — бездомный ребенок. Видя, с каким жаром смысленный мальчуган берется за каждую работу, Сунь (так звали шкипера) решил оставить его у себя на судне, тем более, что, хотя джонка была и не из очень крупных, но все-таки четырех человек экипажа было для нее мало, особенно в свежую погоду.

Мальчик скоро освоился с судовой работой, и будь он старше, посильнее и выносливее, — он был бы отличным матросом. Но когда штормы или так частые в этих широтах в конце марта и октября тайфуны захватывали джонку и начинали ее трепать около негостеприимных берегов к северу от залива Св. Ольги, где часто на сотни ли (полуверст) нет ни одной бухты, в которой джонка могла бы отстояться, тогда всему экипажу приходилось напрягать все свои силы, и бедный мальчуган, рьяно бравшийся за дело, часто падал на палубу вконец обессиленный.

После одного такого шторма, когда Сяо-эр особенно переутомился, шкипер увидел, что мальчику необходимо отдохнуть на берегу... Поэтому, когда джонка брала капусту в кро-

печной открытой бухточке Сяо-гунь-цай-вай (на середине между заливами Св. Ольги и Св. Владимира), то Сунь переговаривал с жившим на берегу этой бухточки капустоловом Ли, у которого Сунь брал капусту. Результатом этих переговоров было то, что Сяо-эр с джонки переселился в крошечную фанзушку, в которой Ли жил вдвоем с молодым парнем, исполнявшим дома хозяйственные работы, приготовлявшим пищу и т. п.

Жизнь мальчика резко переменялась. После судового безделья, прерываемого временами бешеным напряжением сил, началась нетрудная, но постоянная, систематическая работа. Ли и Лю, когда позволяла погода, с раннего утра отправлялись в море на большой, черной, выдолбленной из ствола громадного тополя, тяжелой лодке, и Сяо-эр должен был дома все прибрать, перечинить одежду, и к полудню приготовить обед.

Кроме того, он должен был следить за разложенной на берегу капустой; она не должна чересчур пересыхать, а главное — чтобы ее не сбрызнул дождик: тогда она погибла.

Но хуже всего была заготовка топлива. На всем этом побережье берег круто обрывается к морю, уходя в воду отвесными скалами, а иногда образуя между обрывом и водой груды обмытых, обточенных водой, круглых камней. И лишь изредка скалы отодвигаются вглубь материка, образуя маленькие долинки и ущелья, по крутым бокам которых растут кусты и корявые деревья.

Мальчик лазил по обрывам, собирал валежник и ломал тонкий сушняк; часто он обрывался и рвал на себе жалкие лохмотья, в которые скоро превратилось его платье. Это было ему досаднее всего, потому что вслед за тем ему приходилось зашивать и класть заплаты на свою развалившуюся одежду...

Мальчик бывал очень рад, когда Ли, по его просьбе, оставлял иногда Лю дома хозяйничать, а Сяо-эр вместо него отправлялся в море вместе с Ли.

Время шло. Сяо-эр вырос и превратился в сильного, здорового, закаленного парня. Ему шел уже двадцать второй год. Каких только профессий он не перепробовал! Он был отличным ловцом морской капусты, и этот, самый опасный из промыслов, научил его хладнокровию в опасности, находчивости, развил в нем импульс бойца, который никогда не сдастся, ибо минута апатии — и верная смерть обеспечена...

Он был и охотником, и землепашцем, и женьшень добывал, и золото искал. Но, верный своему характеру, или правильнее — непоседливости, он нигде подолгу не засиживался. Кроме того, своеобразные условия жизни и нерегулярность заработка развили в нем до чрезвычайной степени обычный китайский порок — азартность. Сяо-эр не мог видеть равнодушно никакой игры, будь то банковка, кости, карты и т. д. Он сейчас же принимал участие в игре, и бросал на ставку все, что имел, а иногда и будущий заработок. Если же ему приходилось в это время быть еще под влиянием винных паров, то его страстная, необузданная натура развертывалась во всю ширь, и он становился совершенно невменяемым.

* * *

На реке Да Су-цзы-хэ, которая впадает в Японское море восточнее Сучана, стояла фанза, носившая название Хуан-ту-гань-цзы. Тропа со стороны Сучана, проходившая по реке Сяо Су-цзы-хэ и пересекавшая в этом месте Да Су-цзы-хэ, в течение нескольких веков служила единственным приморским путем, связывавшим район Хай-шэнь-вайя (Владивостока) с нынешним Ольгинским уездом и еще более отдаленными северными районами. Почти каждый путник, перейдя широкую и быструю реку или собираясь ее переходить, останавливался в фанзе Хуан-ту-гань-цзы, чтобы отдохнуть и обсушиться после перехода реки или приготовиться к переходу, а то и переночевать. Благодаря этому, фанза эта

превратилась в нечто вроде гостиницы, частенько полной народу. Хозяин делал недурные дела, кормя гостей, продавая им водку с отвратительным запахом, которую тут же сам гнал, или открывая через подставное лицо игру в кости и в я-хуй; иногда же уступал игру за известную плату желающим. В карты гости играли сами, потому что благодаря ничтожной величине колоды китайских карт, их носит при себе почти каждый промышленник.

Однажды, весной 1901 года, в Хуан-ту-гань-цзы собралось много народа. Одни шли наниматься к земледельцам в работники; другие — на берег моря ловить капусту; третьи направлялись в самые глухие места в дуй-фанзы (охотничьи хижины), потому что надзор за лу-цзяо (оленьими ямами) требовал летом больше рук, чем зимою и т. д.

Хозяин разместил гостей на обоих канах, и сяо-гуй-цзы («чертенята» — мальчики в харчевнях) разносили незатейливую стряпню, казавшуюся многим посетителям лукулловским обедом. Горячая хозяйская водка скоро подогрела настроение.

В углу одного кана, на двух маленьких столиках, кончала обед компания из шести человек обветренных, заскорузлых людей разного возраста, профессию которых трудно было определить по наружности. Между ними выделялся приземистый, лет сорока китаец с энергичным рябым лицом. Он говорил и смеялся громче всех, и к его словам вся компания прислушивалась. Очевидно, он пользовался влиянием или уважением.

— А ну-ка, хозяин, — раздался голос с конца кана, — вели прибирать поскорее, да неси-ка сюда бао-хэ-цзы; я буду банкометом!

Это говорил рябой.

— Сейчас, сейчас, господин Чжан, — ответил хозяин и поторопил слуг. «Чертенята» тотчас составили вместе два «ба-сянь-чжо-цзы» (квадратные столики на 8 человек) между канами в одном конце фанзы; хозяин принес принадлежности игры — скатерть, медную бао-хэ-цзы и палочки.

Началась игра, в которой приняли участие еще несколько прохожих китайцев, отдыхавших в фанзе, а остальные

гости стояли стеной вокруг стола, следя за игрой.

Все были настолько увлечены игрой, что никто из них не заметил, как отворилась дверь, и в фанзу вошел знакомый нам Сяо-эр. Зимой он прожил на реке Ян-му-тоу гоу-цзы в рабочих у старика-китайца, владельца большой лу-цзяо и нескольких круговых тропинок с массой ловушек на соболя. Лу-цзяо зимой не работали, но с соболиными ловушками работы было много: каждый день приходилось обойти все ловушки на одной тропе, осмотреть каждую, вынуть попавших соболя, куницу, а то — рябчика или белку, и опять насторожить... Но зато теперь, когда он шел к морю, чтобы наняться к какому-либо капустолову — он шел не с пустыми руками: у него было десять рублей с мелочью, да еще припрятана соболья шкурка, которую он «случайно» за-был отдать хозяину.

Сяо-эр сел на кан и попросил подошедшего к нему сяо-гуй-цзы дать ему поесть. Сяо-эр проголодался. Еще бы! Он сделал сегодня верст пятнадцать, выйдя утром из фанзы Дяо-пигоу.

Гам и шум, раздававшиеся у игорного стола, и веселые крики не давали Сяо-эру спокойно есть. Сила, бывшая вне его, но могучая и повелительная, тянула его к игре. Сяо-эр с трудом заставил себя доесть обед: не пропадать же заплаченным деньгам!

Но как только он проглотил последнюю чашку риса, Сяо-эр встал со своего места и подошел к играющим. Хозяином игры был рябой китаец, шумевший, смеявшийся и громко бранивший или хваливший своих партнеров смотря по тому, выигрывали они или проигрывали. Его развязность и нахальные выходки произвели на Сяо-эра отталкивающее впечатление, и вместе с тем в голосе и наружности этого отвратительного человека было что-то знакомое, что-то будящее тяжелые, но неясные и неопределенные воспоминания. Сяо-эр невольно начал его ненавидеть, и решил... обыграть его.

Он подошел к хозяину фанзы, не принимавшему участия в игре, и взял у него игорных палочек (марок) сразу на пять рублей — огромную для начала игры сумму.

— Ты хочешь, кажется, вести крупную игру, — сказал, улыбаясь, хозяин.

— Как случится, — засмеялся Сяо-эр.

Чжан был в выигрыше, и по мере того, как росла на столе около него горка палочек, он делался самоувереннее и нахальнее, сыпал остротами и прибаутками, и сам хохотал.

Из-за ряда игроков и зрителей Сяо-эр просунул руку и бросил несколько палочек на скатерть. Манера ставить сразу обличала в нем опытного игрока, но никто из играющих сначала не обратил на него внимания, полагая, что это кто-то «из своих».

Сяо-эр проиграл. Снова поставил, и снова проиграл.

Многие игроки, отдав Чжану все, что имели, оставались простыми зрителями, а у банкмета выросла целая гора бирок.

Сяо-эр взял все оставшиеся у него марки и бросил на цифру 1. Шанс на выигрыш был весьма небольшой... Но судьба любит рискующих: когда банкмет поднял медную крышку бао-хэцзы — «красное» было обращено на цифру 1.

Чжан передвинул порядочную кучку палочек в сторону выигравшего. Тогда только игроки обернулись, чтобы посмотреть — кто это выиграл?

— А, это ты, Сяо-эр, здравствуй! — сказал кто-то. — Ты сюда как попал?

— Да вот иду в Ши-мынь-эр (зал. Св. Ольги, буквально — «каменная калитка»), хочу на лето наняться к кому-либо ловить капусту, — весело ответил Сяо-эр, поблескивая великолепными зубами.

Тогда и Чжан поднял голову и стал внимательно всматриваться в Сяо-эра. Имя, голос и своеобразная манера говорить молодого человека напомнили ему что-то... И кривая, презрительная улыбка исказила его и без того неприглядное лицо. Очевидно, он что-то вспомнил.

Нашлись и еще другие, знавшие парня, и посыпались вопросы; что делается на Синанча и Улахэ, почему сдавали соболей, велика ли добыча пушнины за зиму и т. д.

Сяо-эр успевал всем ответить, невольно располагая к

себе веселостью, молодостью и бьющей из каждой поры его тела энергией.

— Ну, играть, так играть, — грубо оборвал его Чжан, — а хотите болтать — идите прочь оттуда!

Разговоры прекратились, но хмурые взгляды присутствовавших ясно показывали их нерасположение к грубому банкомету.

Игра продолжалась. Одно время Сяо-эр выиграл столько, что, казалось, «взорвет» банкомета, но потом несколько неудачных ставок не только все вернули Чжану, но даже совершенно очистили карман Сяо-эра. Он отдал хозяину все до копейки оставшиеся у него деньги за новую пачку палочек, но и эта партия перешла скоро к Чжану.

Остальные игроки, видя завязавшуюся дуэль, постепенно бросили игру. Внимание всех было устремлено на этих двух людей, из которых ни один, очевидно, не хотел бросить игры, не докапавши другого.

Сяо-эр остановился на мгновение в нерешительности.

— Что, чист? — насмешливо спросил Чжан.

Это замечание как бы подстегнуло его противника. Он присел на кан и стал быстро развязывать тонкую, крепкую бечевку, идущую от улы (китайская обувь) и обертывавшую всю голень правой ноги. Развернув тряпку, покрывавшую ногу, он вытащил из-под нее смятую шкурку соболя. Встряхнув ее и дунув против шерсти, чтобы показать достоинство меха (обычный прием китайцев-меховщиков), Сяо-эр протянул соболя хозяину:

— Дайте десять рублей!*

Хозяин взял шкурку, разгладил ее и стал рассматривать. Соболь был великолепный.

— Пять дам, — ответил хозяин, — больше не могу!

Соболь стоил во много раз дороже.

* 10 рублей — это обычная местная цена за хорошего соболя в то время. Но редкие, отличные экземпляры ценились рублем до 50. Оптовая цена была 5 р. за штуку.

— Давайте пять, — злобно ответил Сяо-эр, ясно видя, как его прижимает хозяин фанзы. Конечно, многие из присутствовавших дали бы ему дорожку, но китайская этика и вежливость по отношению к хозяину не позволяли никому перебить покупу.

Хозяин унес мех и, вынув пять истрепанных бумажек из большого засаленного кошелька, висевшего на груди под одеждой, отдал их молодому китайцу.

— Ну, играй, — крикнул он вызывающе Чжану.

Чжан перевернул внутренний стержень в бао-хэ-цзы и поставил ее на скатерть. Сяо-эр один момент колебался, потом бросил все пять рублей на три стороны, оставляя четвертую пустой.

Чжан поднял крышку — «красное» пало на последнюю, четвертую сторону; Сяо-эр все проиграл...

Чжан захохотал:

— Ну, ты, цюнь-гуань-дань (голый бедняк), гунь-дан-ба (убирайся отсюда)! (Оба эти выражения крайне грубы и обидны).

Оскорбленный Сяо-эр готов был со сжатыми кулаками броситься на обидчика. Но он сдержался, и только поток брани полился из его уст, брани, о которой европеец и понятия не имеет.

Тогда Чжан не вытерпел и бросился к Сяо-эру. Но другие игроки схватили их сзади и растащили, уговаривая:

— Ну что вы делаете! Разве забыли, что гоу яо гоу, лян цзуй мао (если собака грызет собаку — у обеих рты полны шерсти)*.

Но рассвирепевший Чжан не унимался:

— Ты думаешь, я не узнал тебя?! Забыл ты фанзу около Хай-ню цзуй-цзы! («Сивушиный мыс» — так называют китайцы мыс Баратынского около залива Св. Владимира).

Завеса, закрывавшая память Сяо-эра, сразу исчезла: он вдруг сделал как бы скачок в область прошлого, и ему ясно представилась лежавшая за Хай-ню цзуй-цзы бухточка Фа-

* Китайская поговорка.

магоу, в ней три фанзушки капустоловов, и вот он, хозяин одной из них, этот самый Чжан... Сяо-эр с ощущением стыда и муки вспомнил, какие ему, пятнадцатилетнему мальчику, приходилось исполнять обязанности у своего тогдашнего хозяина. Он вовсе не представлял исключения, но окрестные капустоловы, в особенности этот Чжан, одно время даже переманивавший его к себе, задразнили его до такой степени, что ему пришлось бежать от своего хозяина...

Минутное молчание своего противника Чжан принял за победу.

— Ах ты ту-цзай-цзы, да-янь-эр-хо, май гоуцзы! — продолжал он кричать.

Кровь бросилась в голову Сяо-эра. Он рванулся вперед и едва не освободился из рук державших его. Но вдруг он остановился: очевидно, какое-то решение созрело у него в голове.

— Пустите нас, — сказал он спокойным голосом, хотя его бледность и сверкающие глаза выдавали бушевавшую в душе бурю, — мы еще не кончили играть!

— Но ведь ты все проиграл, — раздался голоса.

— Нет, у меня еще кое-что осталось!

По китайской игровой этике выигравший не может прекратить игру — это может сделать только проигравший. Поэтому игра должна была продолжаться.

Все население фанзы окружило стол тесным кольцом, чувствуя, что здесь должно произойти что-либо необычайное.

Противников разделял стол. Чжан «сделал» бао-хэ-цзы, поставил ее боком на центр скатерти и хмуро спросил:

— Много ставишь?

— Много, — ответил Сяо-эр, криво и злобно улыбаясь.

— Говори прямо, что ставишь?

— Я ставлю... мою свободу!

Мертвая тишина встретила в первый момент это заявление, но вслед затем все заволновались, зашумели, заговорили:

— Как так?! Здесь не было случая, чтобы играли на такую ставку... Здесь нет китайцев-хулацзы, есть только да-

цзы хулацзы, — горячились молодые игроки.

— Все равно, — возражали им более солидные и пожилые хранители традиций, — такая ставка существует, и банкомет, если он в выигрыше, не может от нее отказаться; или же пускай он откупится от своего партнера и уплатит ему, сколько бы тот ни потребовал. Но и это только в том случае, если последний пожелает таким способом кончить игру. А если он не захочет, то банкомет обязан принять всякую ставку, лишь бы поставленное принадлежало игроку. Это — единственное и неперемное условие!..

Чжан знал, что он не может уклониться от вызова своего противника. На момент он колебался, но когда он встретил насмешливые, явно недоброжелательные взгляды многих из обыгранных им «гостей», бешеная злоба охватила его.

«Все равно, — мелькнуло у него в голове, — если проиграю, то откуплюсь у этого дурака; ну, а если выиграю...»

Он не успел решить, что он сделает в этом последнем случае, потому что нужно было «не терять лица» и скорее отвечать.

— Хорошо, идет, — ответил он, по-видимому, спокойно. — Кто из нас проиграет, тот будет хулацзы у другого*.

* В Уссурийском крае, особенно в Засучаньи и Ольгинском районе, живут в небольшом количестве местные инородцы, называемые китайцами общим именем — «да-цзы», тазы. Это орочоны, удэхэ, гольды и потомство китайцев от женщин этих племен. Те из них, которые попали в неоплатные долги у местных китайцев, — а это бывает часто, — поступают в кабалу к своим кредиторам, делаются крепостными их или рабами, и называются «хулацзы» — от маньчжурского слова хулашамби — выменивать. След. «хулацзы» — означает вымененный, приобретенный, купленный. Своего хулацзы можно продать другому китайцу, обменять на другого хулацзы, подарить, променять на пашню и т. д. Словом, хулацзы и его семья делаются собственностью своего хозяина. Располагать своим трудом и временем без согласия хозяина он не может; не может отлучиться от указанного ему места жительства, не может играть и т. д. С этим страшным злом — рабством, существовавшим весьма недавно на нашей территории, русские власти не боролись вследствие незнания о существовании такового бытового явления; единственным исключением был живший в зал. Св. Ольги в 1896-1899 гг. мест-

— Но ведь тебе нельзя будет играть, когда ты будешь хулацзы, — воскликнул какой-то молодой женишеньщик, обращаясь к Сяо-эру.

— А кто тебе сказал, что я буду хулацзы, а не Чжан? . Хулацзы я не буду, помни это, — с вызывающим видом ответил Сяо-эр сконфуженному парню.

Чжан злобно сверкнул глазами и проворчал сквозь зубы какое то ругательство.

— Ставь, — сказал Чжан, опрокидывая бао-хэ-цзы на центр скатерти.

Воцарилась мертвая тишина. Сяо-эр вынул из ножен острый, как бритва, большой нож, с которым таежник никогда не расстается, положил кончик своей длинной косы на стол и отрезал его ножом вместе с вплетенным в него шнурком. Этот пучок волос, который был более драгоценен, чем сама жизнь, в котором заключалось неоценимое благо — свобода, Сяо-эр высоко поднял над столом, раздумывая, куда бы поставить и, наконец, медленно опустил на линию, разделявшую цифры 1 и 2.

Все затихло. Все чувства, все ощущения сосредоточились в одном — в зрении...

Чжан медленно протянул руку, которая заметно дрожала, к медной коробочке и, задержавшись на мгновение, снял крышку...

* * *

Все ахнули. «Красное» было обращено на цифру 3 — Сяо-эр проиграл... Толпа с сожалением смотрела на бледного, с горящими глазами, молодого человека.

— Что, не будешь хулацзы? — злобно улыбнулся Чжан.

ный начальник, заставивший всех китайцев Ольгинского участка освободить своих хулацзы и снабдить их пашней, необходимым инвентарем, фанзами и т. д.

— Не буду,— крикнул Сяо-эр, — ставь еще!

— Ты теперь мой хулацзы! Ты не имеешь больше права играть, — угрожающе сказал Чжан.

— Нет, имею, — ответил решительно Сяо-эр. И, прежде чем окружающие поняли, что он делает, он быстро расстегнул куртку, распустил пояс шаровар и, захватив левой рукой у себя на животе широкую складку тела, одним взмахом ножа отрезал ее. Подняв мясо над скатертью и зажав рану другой рукой, Сяо-эр снова крикнул:

— Ставь бао-хэ-цзы!

Поднялся шум.

— Он — хулацзы, он не имеет права играть, — кричали молодые.

— Нет, — отвечали более опытные, — Сяо-эр прав! Хулацзы не может играть на деньги и вещи, которые принадлежат хозяину, а тело и жизнь его принадлежат ему самому. На них он может играть. И именно этими ставками он может отыграть себе свободу... Сяо-эр правильно играет, а вы, молодежь, не знаете правил игры!

Чжан знал, что Сяо-эр ничем не нарушил традиций игры, кто знает, когда и кем установленных. Он медлил, чтобы ослабить своего противника, но окружающая толпа, убедившись в правоте его партнера, кричала ему:

— Ставь банковку, Чжан, ставь скорее!

Чжан видел, что его ненавистный враг, которого он считал уже находившимся в его власти, готов ускользнуть от него, но выбора не было и Чжан, перевернув в коробке внутренний стержень, поставил ее на скатерть.

Сяо-эр с размаха, обрызгав кровью Чжана, положил кусок своего мяса на линию, отделявшую цифру 3 от 4. Очевидно, он полагал, что его враг не переменял положения столбика, и хотел, так сказать, психологически поймать его.

Воцарилась снова мертвая тишина.

Чжан поднял крышку... и из груди всех окружающих единодушно вырвался крик:

— Хао! Хэнь хао! (Хорошо, отлично!)

Сяо-эр поймал Чжана; «красное» смотрело на цифру 3...

— Свободен, свободен, не хулацзы, — радостно говорили все, обращаясь к молодому китайцу и невольно симпатизируя ему.

— Ну ладно, убирайся, — с деланным спокойствием проговорил Чжан, — я кончаю игру.

— Нет, стой, — крикнул Сяо-эр, — ты кончаешь игру, да я-то не хочу кончить... Я ведь еще в проигрыше!

Толпа сразу затихла, предчувствуя что-то неожиданное.

— Да, да, верно, — раздались голоса, — Чжан не имеет права первым прекратить игру!

Чжан почувствовал, что не может ни на кого опереться. Ему не было другого выхода, как продолжать игру.

— Что же ты поставишь? — спросил он.

— А вот увидишь, — отвечал Сяо-эр, крепко прижимая отрезанный кусок мяса к ране, чтобы задержать кровотечение.

Чжан медленно поставил бао-хэ-цзы на стол. Тогда Сяо-эр снова отнял мясо от раны и бросил его на диагональ между цифрами 1 и 4.

— Как так? — воскликнул недоумевающе Чжан.

— А так, — спокойно, но зловеще ответил Сяо-эр, — мы теперь квиты и вот моя ставка; ты не имеешь права отказаться!

— Верно, верно, Сяо-эр говорит правду, — раздались со всех сторон голоса.

У Чжана в первый моментхватило дух. Но он не мог «потерять лица»; деланно усмехнувшись, он поднял крышку...

«Красное» смотрело на цифру 1.

Воцарилось гробовое молчание. Все смотрели на помертвевшего Чжана.

— Плати! — сказал Сяо-эр.

— Может быть... — начал Чжан.

— Плати этим! — уже раздраженно крикнул Сяо-эр, показывая на свое мясо.

— Плати, ничего не поделаешь — плати, — кричала толпа, — мясо за мясо! Умел брать, умеи отдавать!

Чжан знал, что если он не заплатит, то толпа сейчас же

повалит его на землю и сама «возьмет» проигрыш — таковы «священные» законы игры... Он быстро распустил пояс, схватил нож и с пеной у рта крикнул:

— Проклятый лань-бань-дэн! Так вот же тебе!

И, по примеру своего врага, отхватив кусок мяса от своего живота и приподнявшись со скамейки, он хотел бросить его в противника. Но Сяо-эр его предупредил: в тот же миг кусок мяса Сяо-эра, брошенный его рукой, с противным хлюпающим звуком с такою силою ударился в лицо Чжана, что тот откинулся назад на скамью.

Шум, крики, восклицания со всех сторон заглушили на один момент крики Чжана, который, запачканный кровью, не помнил себя от ярости. Он что-то кричал, брызгал слюною и грозил кулаками Сяо-эру, не будучи в состоянии броситься на него: оба противника были прижаты толпой к разъединявшему их столу.

— Цзюань-янь-цы, — бросил Сяо-эр своему врагу.

— Голову, голову, — кричал Чжан, — игра еще не кончена!

— Идет, идет, — отвечал Сяо-эр, — идем на улицу!

— На улицу, на двор, — подхватили гости, большинство которых не понимало, в чем дело, но которые все принимали самое горячее участие в совершавшейся перед ними трагедии.

Все высыпали на двор.

— Вот, — крикнул Сяо-эр, показывая на растущее сбоку усадьбы за забором дерево, к которому был привязан отстаивающийся после работы осел, — вот как раз то, что нам нужно! Идем туда!

Оба врага, зажимая раны, а за ними и вся толпа, двинулись к дереву. Осла отвязали и прогнали.

— Пояс, дай пояс, хозяин, — сказал Чжан, — он у тебя длиннее!

Хозяин снял с себя пояс, в несколько раз обмотанный вокруг тела, и передал его Чжану.

— А, проклятый, — хрипел Чжан, дрожащими от бешенства руками делая мертвую петлю на конце пояса, — вот посмотрим, как ты тут выиграешь!

— Перестань, гоу-сун, злиться, — насмешливо кинул ему Сяо-эр, — а то петли завязать не сможешь!

Чжан бросил Сяо-эру пояс с одной, сделанной для него, петель, а Сяо-эр спокойно и деловито сделал петлю на другом конце.

Пояс перебросили через сук на дереве, который был на такой высоте, что обе петли как раз доходили до плеч врагов.

— Вяжите руки, — сказал Сяо-эр.

Кто-то из окружавшей толпы связал сзади руки обоим противникам разрезанной пополам оставшейся после осла веревкой; затем на шеи врагов были надеты петли, причем петля Чжана была надета на Сяо-эра, а петля, сделанная последним, на Чжана.

— Хорошенько, хорошенько затяните, — говорил деловито Сяо-эр, как будто дело шло о запряжке лошади.

— Ну, готово, — сказал кто-то.

В то же мгновение Сяо-эр подогнул ноги и повис на поясе, стараясь подтянуть кверху Чжана.

Началась безобразная сцена страшной борьбы двух людей, которые с вышедшими из орбит глазами и искаженными багровыми лицами, изрыгая пену, бешено извивались и прыгали, стараясь перетянуть друг друга... Капли крови с обоих падали вниз и тотчас впитывались землей, разрыхленной ослиными копытами...

— Да-цзя-хо-эр (все), — сказал хозяин, — пойдем домой и не будем мешать последней игре.

Толпа тотчас отошла от места «игры» и все молча вошли в фанзу и сели на каны.

— Жалко Сяо-эра, — сказал хозяин, — он проиграет!

Все вопросительно посмотрели на хозяина, но промолчали.

— Не пора ли? — сказал кто-то через четверть часа.

— Нет, рано, — ответил хозяин.

Протянулись томительные полчаса.

— Ну, теперь пора, — сказал хозяин, выглянув в дверь.

Толпа, подгоняемая присущим всем азиатам страстью к зрелищам, особенно жестоким, стремилась броситься вперед,



но, признавая авторитет хозяина, медленно направлявшегося к дереву, сдержала себя и пошла за ним.

На дереве висели два неподвижных тела. Одно из них, с поджатыми коленями, касалось ими земли; другое, вытянутое, было на четверть аршина над землей.

— Оба? — опасливо произнес голос в толпе.

— Нет, — ответил хозяин, — один будет жив...

Когда подошли ближе, то увидели, что на коленях стоит Чжан, а висел Сяо-эр. Кто-то хотел развязать пояс.

— Нет, режьте, да скорей, — распорядился хозяин.

Пояс перерезали, и оба тела мешками упали на землю. Петли распустили и сняли.

— Несите Чжана в фанзу, а Сяо-эра — в сарай, — приказал хозяин. Толпа подняла обоих «игроков» и понесла их.

— Оботрите, да посильнее, Чжана холодной водой, — продолжал хозяин, — он скоро придет в себя. Ты, Лю, — обратился он к кому-то в толпе, — ведь хороший плотник; сделай из тех досок, что лежат за сараем, хороший гроб для Сяо-эра, да не забудьте в него положить его мясо... Хороший был парень, жаль его!

— Хозяин, почему вы знали, что Сяо-эр проиграет? — спросил кто-то, — что, у него жизни было меньше, что ли?

— Жизни у Сяо-эра было больше, чем у другого, — грустно ответил старик, — но проиграть он должен был потому, что ему было только 20 лет с небольшим; и хоть был он силен, да в тело еще не вошел... А Чжану было за сорок; он, может быть, был и слабее, да тяжелее. Эта игра была фальшивая, потому что шансы были неравны. А мне ничего нельзя было сказать — они делали все верно, по правилам...

VI

СЧАСТЛИВЫЙ ИГРОК

(Шанхайские силуэты)

В портах Среднего и Южного Китая, особенно в Шанхае, вы на каждом шагу встретите джентльменов, одетых в изысканные европейские костюмы, но у которых почти всегда к этой изысканности примешивается что-то кричащее, или нечто утрированное: слишком большая и высоко поднятая складка брюк над лаковыми ботинками, чрезмерно большой или яркий галстук, высочайший крахмальный воротничок, шляпа последней моды, но несезонная и т. п. Все они — непременно брюнеты.

Если вы внимательно всмотритесь в лицо этих, большей частью молодых джентльменов, то вас удивит необычайный среди европейцев желтоватый, матовый, без кровинки, цвет кожи; иногда — своеобразная постановка глаза с припухлостью внутреннего верхнего века глаз, и нечто неуловимое, ненаблюдаемое на лице европейца; с одной стороны — напыщенная павлинья гордость, а с другой — искательство, готовность на все, без исключения, услуги...

Это — так называемые *half caste*, «полукровки», — помесь европейцев с туземцами или вообще с азиатскими народами.

Все они всегда владеют китайским и каким-либо европейским, а иногда и несколькими языками, и поэтому часто бывают переводчиками; они отличаются практическими способностями, но вместе с тем и хитростью, беззастенчивостью и беспринципностью. Они пролезут куда угодно, узнают и сделают, что вы хотите (конечно, если это сулит им солидную выгоду), нисколько не считаясь с требованиями нравственности или закона.

Как посредники между европейским и туземным населением, они являются, конечно, весьма полезным, а ино-

гда и необходимым элементом, но несмотря на это, положение их между европейцами весьма тяжело: их услугами пользуются, но их самих презируют и никогда в европейское общество не допускают. Они деклассированы.

Но зато сами себя они считают неизмеримо выше туземцев, и держат себя по отношению к последним крайне гордо, копируя англичан, и даже вызываясь.

Самым худшим, пожалуй, элементом среди этих «хавкастов» являются переселившиеся с Филиппинских островов метисы — потомки португальцев и тагалок, которые всегда называют себя португальцами чистой воды. Физически этот тип выше, чем остальные метисы и между их женщинами попадаются иногда настоящие красавицы. Во всех же остальных отношениях они хуже остальных хавкастов, потому что, усвоив все их пороки, и даже в большей степени, они не приобрели их деловитости и «полезности». Всякий жуир и прожигатель жизни, впервые приехавший в Шанхай и захотевший познакомиться со всеми «гранями» шанхайского быта, почти всегда попадет (если, конечно, не будет заранее предупрежден) в руки такого проводника- «португальца»; и тогда — горе ему!

* * *

Дон Луис Серрао де Пуньо бесцельно шагал по Bundy (набережная улица в Шанхае). Собственно говоря, несколько лет тому назад в Манилле его звали просто Пунь; но, приобретя некоторый лоск, знание людей и «ловкость рук», он решил, что трехэтажное имя и титул имеют в известных случаях значительную ценность, а потому, подновив костюм, он заодно подновил и надстроил также и свое имя.

Дон Луис был не в духе. Вчера вечером в игорном доме «Вечной радости» в Хонкью он быстро проигрался дотла. Огорченный гидальго зашел к своей хорошей «знакомой» донне Марии, служившей днем продавщицей в одном из магазинов на Нанкин-род. Взяв у нее «взаймы» десять дол-

ларов, он отправился к своему приятелю — дону Диего, который приглашал его в тот день зайти попозже посмотреть бои петухов. Дону Диего привезли какого-то особенного петуха, обещавшего быть соперником непобедимому до сих пор петуху-бойцу дона Игнацио.

Часов в десять вечера в квартире дона Диего собралось «избранное» общество — человек двадцать матовых брюнетов, называющих себя португальцами и испанцами. Были и дамы. Почти все были знакомы между собою раньше, и в обращении друг с другом отличались утрированной вежливостью.

После бесконечных приветствий и любезностей, гости просили хозяина показать нового петуха. Дон Диего вышел из комнаты и через минуту принес великолепного, огромного белого петуха с толстым, составленным из нескольких рядов мясистых наростов, красно-сизым гребнем и узловатыми ногами, покрытыми как будто известковой пылью. Петух махал ногами и беспомощно озирался, ослепленный ярким электрическим светом, когда хозяин, держа его в руках, перевертывал во все стороны и указывал гостям на его достоинства.

Гости, горя нетерпением увидеть скорее любопытное зрелище, по предложению любезного хозяина уселись на стульях и креслах, расположенных кругом в два ряда так, что посреди комнаты образовался своеобразный манеж.

— Ну, дон Игнацио, — обратился хозяин к пожилому португальцу, — как мы будем вести борьбу: до победы, или до конца?

— Как вам угодно, — галантно ответил дон Игнацио, — но я полагаю, что, так как бойцы встречаются в первый раз, то вряд ли будет смысл вести борьбу до конца. Не лучше ли будет вести поединок до первого увечья?

— Конечно, конечно, — согласился дон Диего. — Ну, — продолжал он, — не будем терять драгоценного времени!

Из корзинки, покрытой материей и стоявшей в углу комнаты, дон Игнацио вынул своего петуха. Черный, сухой, гораздо меньшего, чем его будущий противник, роста, этот петух не мог произвести такого впечатления, как его вели-

колепный соперник. Он казался и более вялым, оставаясь неподвижным в руках своего хозяина, и только полупрозрачное боковое веко ежеминутно закрывало его глаза...

— Ставлю пять за белого, — раздался чей-то голос.

— Принимаю, — галантно раскланялся дон Игнацио.

«Вот случай удвоить мои 10 долларов», — подумал дон Луис. Сомнений у него не было — разве мог маленький, вялый черный петух противиться белому гиганту?

— А вы как будете вести бой, — спросил он у дона Диего, — со шпорами или без них?

— Как будет угодно дону Игнацио, — ответил хозяин.

— Конечно со шпорами, — улыбнулся пожилой португалец.

— Ставлю десять за белого, если позволите, — сказал дон Луис.

— Пожалуйста, — улыбнулся Игнацио.

— Пять за белого! Два за белого! Три за белого! — раздались со всех сторон голоса, и только кто-то один поставил десять за черного.

— Начинайте, начинайте, — торопили гости хозяина.

Обоим петухам подвязали к ногам по длинной стальной шпоре и поставили на пол посреди круга друг против друга.

Сразу затихли все разговоры и взоры всех зрителей приковались к двум петухам, которые, ослепленные ярким светом и оглушенные шумом, казалось, думали в настоящий момент только о насесте в темном курятнике.

Но вот черный петух подошел к белому, глянул на него самым миролюбивым образом сначала одним глазом, потом, повернув голову — другим; и затем, совершенно неожиданно, вдруг вытянул голову вверх и клюнул его в гребень. Белый петух от неожиданности подскочил и тревожно закричал. Черный нагнул голову к самому полу, растопырил крылья и стал лапами царапать пол, злобно кудахтая.

Не успел белый приготовиться к защите, как черный подскочил, подпрыгнул и с размаха ударил противника шпорой в шею. Белый тоже рассердился, и в свою очередь налетел на черного.

Начался страшный бой. Петухи неожиданно расходились, снова насакивали друг на друга, взлетали, били один другого шпорами, клювом и крыльями... Шея и голова белого скоро окрасились кровью; на черном крови не было заметно, но черные перья на полу показывали, что он тоже пострадал.

Один момент казалось, что белый одержит полную победу: сильным ударом клюва в гребень противника он, казалось, пригвоздил голову его к полу. Взрыв рукоплесканий большинства зрителей как будто придал силы черному: он вырвал голову из-под клюва противника, и в тот же момент, подскочив, ударил белого шпорой в глаз. Белый был сбит с позиции и стал уклоняться от яростных нападений своего врага. Вырванный из орбиты глаз болтался на нерве...

— Кончено, я проиграл, — сказал дон Диего. Дон Игнацио тотчас же схватил своего петуха, который барахтался и старался вырваться из рук хозяина, стремясь добить своего врага.

Между зрителями поднялся страшный шум.

— Неверно, неправильно! Это мошенничество! Нужно продолжать борьбу, победа еще не решена, — кричали вскочившие со своих мест гости.

Шум поднялся невероятный. Напрасно хозяин успокаивал гостей, из которых каждый теперь более походил на расходившегося петуха, чем на приличного гидальго..

— Господа, полиция услышит и придет, — удалось, наконец, дону Диего перекричать шум.

Слово «полиция» сразу подействовало успокоительно на нервы гостей, которые, хотя и были крайне взволнованы, но уже больше не кричали.

Дону Луису пришлось отдать последние десять долларов...

Воспоминание о двух неудачах в один и тот же день до крайности его угнетало.

Куда пойти теперь? Он знал все места, где играют в «лошадки», в фаро, в кости, в я-хуй, где происходят бои кузнециков и крыс, где курят самый лучший бенгальский и са-

мый худший, сплошь состоящий из ляо-цзы (суррогата) опиум, где гашиш и курят, и едят со сладостями, где морфий и кокаин и впрыскивают, и нюхают; он знал, где можно нервы, мускулы и волю привести в расслабленное состояние, заставив мозг и фантазию бешено работать... Но всюду нужны деньги, которых у него нет... Пойти разве в «женский театр», где несколько безобразных баб в евином костюме проделывают отвратительные телодвижения? Но кроме пьяных матросов, там никого не найдешь, а с них взятки гладки... Или пойти на французскую концессию и предложить гуляющему фланеру провести его к китайскому Антиною?... Но теперь слишком поздно: гуляющих и гулящих уже на улицах не застанешь...

Тысячи планов роились у него в голове, но он отбрасывал их, как слишком фантастичные и неудобовыполнимые...

* * *

Господин Ван был сыном крупного пекинского чиновника, сумевшего сохранить свое положение при всех политических переворотах последних лет. Молодой Ван, начавший образование по старой китайской классической системе, закончил его по-новому: в числе других молодых людей он был командирован в Японию. Ван прожил там два года, вращаясь почти исключительно среди своих соотечественников, посещал все увеселительные места и не пропустил ни одного митинга китайских студентов. Лекции же в университете посещать считал излишним, ибо японского языка он не понимал, а по-английски знал слишком мало.

Вернувшись после «окончания заграничного образования» домой в Пекин, молодой Ван сразу занял видное положение среди того слоя знатной молодежи, из которой комплектуется теперь крупное чиновничество. Конечно (так он полагал), он имеет на это полное право: он получил иностранное, заграничное образование, у него есть влиятельные

друзья, у отца — хорошие связи и денег достаточно... А главное — хорошо, что теперь отменили эти дикие экзамены, без которых раньше невозможно было поступить на службу! Будь старые порядки, пришлось бы ему для получения какой-либо ничтожной должности потратить лет десять-пятнадцать на самое серьезное изучение и Кун-цзы, и Мын-цзы, и Чжуан-цзы, и Чэн-и, и Чжу-си, и бесконечного ряда других... А теперь карьера ему обеспечена без всякого труда.

Но расчеты его не совсем оправдались. Таких, как он, жаждущих движения воды, оказалось слишком много: не только не хватило министерских портфелей на всех, желавших их принять, но даже нельзя было сразу попасть в какие-нибудь дао-ины (начальники округа) или в прокуроры судебной палаты; а на меньшее, извините, г. Ван не соглашался...

Недовольный правительством, он примкнул к оппозиции. Желая играть видную роль, он прибег к обычному в Китае средству: решил издавать собственную газету, конечно, весьма крайнего толка, и, само собою понятно, на средства отца.

В первое время это дело его занимало, но постоянная регулярная работа была ему не по плечу. Успеха газета не имела, а поэтому получить субсидию (как это обыкновенно водится) от какой-либо организации или даже иностранного государства — он не мог. Наконец отец сказал:

— Хочешь жить и веселиться — я тебе денег дам; а на глупую затею — на газету — я больше давать не буду!

И пришлось господину Вану сделаться «жертвой несовершенности современного строя». Он бросил газету, решил отдохнуть от трудов и развлечься, сделав поездку по центральному и южному Китаю, где он еще ни разу не был; посмотреть на знаменитое озеро Си-ху, поласкать чугунные прелести Ван-ши, оскорбить статую Цин-гуй'я, побывать в цветочных лодках Кантона — словом, проделать все то, что полагается блестящему молодому человеку его типа и калибра.

Отец ничего не имел против поездки сына и дал ему порядочную сумму денег (переводов и разных других глупых

банковских операций старик не признавал: деньги в руки — и проще, и вернее!)

Через несколько дней молодой Ван был уже в Тянь-цзине и брал билет на один из пароходов China Merchants' Steam Navigation Co., уходивший в Шанхай.

* * *

Громадный пароход «Цзян-юй» подошел к пристани на реке Хуан-пу, или, по местному — Ван-пу. На берегу собралась значительная толпа: встречающие, полиция, носильщики, клерки фирм, ожидающих прибытия товара на пароходе — все это двигалось, шумело, толкалось или водворяло порядок.

Несложные формальности скоро были окончены, и поток палубных пассажиров устремился на берег, а навстречу ему, несмотря на все старания судовой администрации, успели проскочить на пароход несколько человек с берега, и между ними — претенциозно одетый молодой джентльмен с желтым лицом.

Г. Ван стоял на палубе, с любопытством наблюдая новую для него картину в этом странном, никому не принадлежащем, богатом городе.

Постепенно пассажиров на пароходе становилось все меньше и меньше, и г. Ван спохватился — нужно и ему сходить. Он взял в обе руки по саквою — один побольше, с европейским костюмом, и другой — поменьше, с умывальным прибором и деньгами (он знал, что иностранцы не таскают с собою в пути крупных вещей), и по сходням сошел на берег.

В это время веер, с которым порядочный китаец никогда не должен расставаться, выскользнул у него из рукава и упал на землю. Ван остановился и хотел поставить один саквояж на землю, чтобы поднять веер, но в этот момент какой-то европеец, следовавший за ним сзади, нагнулся, поднял веер и подал его Вану, говоря на отличном север-

ном наречии:

— Вы, милостивый государь, кажется, уронили веер!

— Лао-нинь цзя, лао-нинь цзя (чрезвычайно благодарен, очень вас затруднил), — раскланивался Ван, чрезвычайно пораженный и польщенный. Еще бы! Чтобы европеец, да еще прекрасно одетый, был так вежлив по отношению к китайцу — это ведь неслыханная вещь! К тому же, он так хорошо для иностранца говорит по-китайски... Ван рассыпался в благодарностях и комплиментах, молодой человек не оставался в долгу.

— Позвольте спросить, вы возьмете кэб или две рикши? Вам куда нужно ехать?

— Я только что приехал впервые в Шанхай и не знаю еще, где остановлюсь; у меня есть письмо к знакомому моего отца, но я точно не знаю его адреса.

— Позвольте рекомендовать вам один **boarding house**. Там вам будет очень удобно... Правда, он не на блестящей улице, но зато поблизости найдется много интересных мест, да и недорого!..

— Я не знаю, удобно ли мне будет, — усомнился Ван, — ведь я не жил никогда в европейском доме!

— О, это пустяки! В этом бордин-хаузе постоянно бывают и китайцы. Там есть и китайский стол, и я вас уверяю, что вам будет хорошо!

«В самом деле, — подумал Ван, — кто же мне мешает переехать, если мне не понравится?»

Он отдал себя целиком в распоряжение обязательного молодого человека.

— Хотя мне нужно в другую сторону, но я с удовольствием доведу Вас, — говорил дон Луис (это был он), усаживаясь в кэб рядом с Ваном.

Экипаж двинулся по Бродвэю, переехал через мост на Сучжоу-крик, покатился по Бэнду, потом свернул на Нанкин-род, потом сделал несколько поворотов вправо и влево, и Ван, до сих пор внимательно следивший за дорогой, совсем запутался. Роскошные огромные дома европейского типа стали попадаться все реже и реже; между ними начали встречаться промежутки и даже пустыри, и, наконец, на-

чался с левой стороны длинный ряд китайских построек, прерываемый кое-где двухэтажными кирпичными домами. Все постройки сплошь были заняты лавками, ресторанами, харчевнями, чайными и т. п.

Спустившийся вечер и разлившееся скоро всюду море фонарей скрыли грязь и скрасили неприглядность местности, но привычная обстановка китайского города была Вану более по сердцу, чем скучные, однообразные, многоэтажные европейские дома и монотонная обстановка небойких европейских кварталов в китайских городах.

Дон Луис остановил кэб около двухэтажного грязноватого дома, обычного здесь полугерманского типа, вдвинутого между лавками и как две капли воды похожего на сотни других домов, мимо которых они проезжали. Посреди дома был сквозной проход с улицы во двор. Узенькая деревянная лестница, пристроенная к стене дома со стороны двора, вела на висющую веранду второго этажа, огибавшую весь дом с внутренней стороны.

Поднявшись на веранду, дон Луис смело открыл одну из многочисленных выходивших на веранду дверей и ввел Вану в ярко освещенную большую комнату. Середину комнаты занимал большой стол, а по углам стояло еще четыре маленьких стола. Драпри на дверях, ламбрекены на закрытых плотными занавесками окнах, большое зеркало неровного стекла, стоявшее прямо против входа и отразившее вошедших, и несколько картин в аляповатых золоченых рамах, все показалось Вану красивым и богатым, хотя и не новым.

Сказав подошедшему слуге-китайцу несколько слов, которых Ван не понял, Луис извинился и вышел в одну из внутренних дверей. Ван обратился к слуге с вопросом:

— Чжэ-ши на-и-вэй-ди фан-цзы? («Это чей дом?»)

Слуга улыбнулся и ответил:

— Фу-сяо-д (на шанхайском наречии значит: «не понимаю»).

— На-и-та цзе? — продолжал Ван («Какая улица?»).

Слуга опять ответил:

— Фу-сяо-д!

Видя, что все равно от слуги ничего добиться нельзя, Ван прекратил расспросы, внутренне возмущаясь — как это правительство может допускать, чтобы в одном и том же государстве люди говорили на разных языках: в Пекине — на одном, в Шанхае — на другом, в Фу-чжоу — на третьем, в Кантоне — на четвертом... Ведь если он, Ван, попадет на службу не в Северный Китай, так ведь он ничего не будет понимать; придется все дело вести через переводчиков, а работа последних известно ведь какая!

Его размышления были прерваны приходом д. Луиса, которого сопровождала какая-то пожилая, облынявшая и обрюзгшая брюнетка.

— Господин Ван, — обратился к гостю Луис, — вот хозяйка этой гостиницы; отличная комната вам уже приготовлена... Возьми вещи, — приказал он по-китайски слуге. Тот подошел и взял большой саквояж, а маленького Ван не отдал.

— Только прошу, Ван, — обратилась хозяйка к гостю на плохом английском языке, — обедать приходите сюда, в табль-дот!

Ван понял и ответил:

— Да, да, конечно!

— Пойдемте, — предложил Луис, — я вам покажу вашу комнату.

Не выпуская маленького саквояжа из рук, Ван пошел вслед за Луисом по узкому коридору, по обеим сторонам которого были двери без номеров и карточек. Одна из них была открыта, и туда-то Луис ввел гостя.

Комната была небольшая, обычного отельного типа; в одном углу деревянная перегородка, не доходившая до потолка, очевидно, отгораживала спальню.

— А сколько стоит? — спросил Ван.

— О, очень дешево — три с половиной доллара в день на всем готовом, — отвечал Луис.

Вану это показалось дороговато, но, т. к. он в средствах не стеснялся, то он промолчал.

Конечно, Луис не сказал ему, что 3 доллара пойдут хозяйке, а 50 центов — лично ему за «труды».

Луис сделал движение, как бы вынимая часы.

— Ах, я забыл часы дома, — озабоченно произнес он, — скажите, пожалуйста, который теперь час?

— Теперь ровно семь, — отвечал Ван.

— Не забудьте, что через полчаса здесь обедают — вам нужно одеться, — напомнил Луис и стал откланиваться.

Гостиница Вану не понравилась. Он подумывал ее переменить. Ему было немного неловко, даже жутко оставаться одному здесь, в непривычной обстановке и почти без языка; он невольно привык уже полагаться на своего случайного знакомого...

— Господин Лу, — обратился он к молодому человеку, — а может быть, вы здесь пообедаете?

— Я очень благодарю вас, но, право, я не знаю, как быть: у меня уже заплачено за стол вперед в одном доме...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я вас приглашаю!

— Ну да, я понимаю, благодарю вас, но... в таком случае мне все-таки нужно съездить предупредить дома, что я сегодня там обедать не буду. Через полчаса я непременно буду здесь.

Луис ушел, а Ван стал разбирать свой саквояж и приводить себя в порядок к обеду.

Когда Ван умылся и оделся в европейский костюм, с большим трудом справляясь с крахмальным воротничком и галстуком, было уже половина восьмого. Немного встревоженный отсутствием дона Луиса, он вышел в столовую. Два столика были уже заняты. Почти в ту же минуту входная дверь отворилась и вошел дон Луис в том же костюме, в каком был и раньше, но с палевой хризантемой в петлице.

Новые знакомые заняли столик в дальнем углу направо, откуда было хорошо видно всех входящих.

Пришло еще несколько посетителей и заняли места за большим столом. Все они, несмотря на разность возрастов, лиц и костюмов, чем-то напоминали дона Луиса...

Китайцев не было ни одного, кроме Вана.

Подали обед — европейский, но с неуловимым восточным оттенком. Обед Вану понравился.

В разгар обеда отворилась входная дверь и вошла девушка или молодая дама, одетая очень скромно, но с изысканным вкусом, в черное глухое платье; единственное украшение — золотая брошь с крупным бриллиантом — сверкала на груди. Лицо ее отличалось матовой бледностью, но черты лица были так правильны, черные дуги бровей вычерчены так безукоризненно, свежие неподкрашенные губы были так хороши, что ее смело можно было назвать красавицей.

Дон Луис тотчас встал из-за стола, подошел к ней и поцеловал ей руку. Она вскинула на него глаза — огромные, черные, и все лицо ее оживилось очаровательной улыбкой, обнажившей великолепные зубы.

Она села одна за отдельный столик и ей подали обед.

Ван невольно ежеминутно взглядывал на незнакомку. Вот и она подняла глаза, и их взоры встретились... Точно лучи какого-то мягкого света пронизали Вана, и он не мог уже отвести своих глаз от прелестной незнакомки. Еще раз взоры их встретились, и Вану показалось, что ее глаза сразу сделались ласковей, и губы чуть тронулись приветливой полуулыбкой...

Никогда в жизни Ван не испытывал еще того, что чувствовал сейчас: точно тончайшее, нежное, теплое облако шелковой ваты опустилось на его душу и сердце; немножко и больно, и бесконечно приятно, и воздуху не хватает в груди, а голова кружится...

Да, нет сомнения, что незнакомка обратила на него внимание: в третий раз встретились их глаза, и сделались у нее мягкими-мягкими, добрыми, ласковыми и чуть дразнящими...

«Вероятно, она впервые видит здесь пекинца; здешние китайцы ведь все ужасные провинциалы, — подумал Ван, — и оттого она обратила на меня внимание».

— Кто это? — не вытерпел Ван.

— Это... Это одна дама, моя хорошая знакомая!

— Она замужем?

— Нет, она свободна.

— Она часто бывает здесь?

— Не знаю; я вижу ее здесь в первый раз.

Луис, очевидно, не хотел пускаться в подробности, и Ван больше не спрашивал, хотя ему страшно хотелось узнать о ней что-либо подробнее.

Дама кончила обедать раньше их, встала и ушла, бросив в их сторону на прощание улыбку и сделав прощальный знак рукой. Кому? Луису? А может быть, ему, Вану...

После обеда Луис, сделавшийся молчаливым, откланялся. Ван взял с него обещание, что он и завтра придет сюда обедать.

Плохо спалось Вану в этот день. Ослепительная красавица что-то ему говорила, куда-то звала и манила, и убегала от него; он стремился к ней, но его ноги точно к почве прирастали или свинцом наливались и не слушались его. Она опять звала, что-то ему кричала, но он не понимал ее, не мог догнать и жестоко мучился...

Наутро Ван проснулся поздно, с головной болью. Он вспомнил, что ему нужно идти разыскивать приятеля своего отца.

Вынув большую часть денег из саквояжика, он положил их в бумажник и спрятал его во внутренний боковой карман сюртука... «Кто его знает, — думал он, — что здесь за люди? Нужно быть осторожным!»

Он вышел на улицу, сел на рикшу и махнул рукой. Рикша побежал. Ван рассчитывал зайти в какую-либо контору, где его поймут, и разузнать о господине Цзинь — так звали друга отца.

Стоял ясный, холодный, осенний день. Проезжали мимо каких-то бульваров, и осенние, желтые, падающие листья кружились в воздухе. Так же кружились и мысли Вана... Но листья падали на землю и, попадая в какую-нибудь канавку или ложбинку, теряли жизнь и лежали неподвижно; мысли же не прекращали своего бега ни на минуту, не останавливались и не успокаивались, возвращаясь все к одному и тому же — к прекрасной иностранке...

Не раз рикша оглядывался на седока, ожидая его указаний, но седок молчал, и рикша опять бежал. Синяя куртка рикши с белой на ней цифрой 2546 на спине почернела

от пота и плотно облипла, вырисовывая лопатки и выпуклые, сухие желваки мускулов...

Наконец, живой мотор остановился на Бэнде, около памятника погибшему Ильтису, и стал грязным полотенцем вытирать пот, струившийся по лицу: он решил, что его седок никуда не едет, а просто катается. Это часто бывает.

Господин Ван вышел из колясочки, заплатил и пошел в опустошенный осенью сад, вытянувшийся по берегу реки Хуан-пу. Но едва он сделал несколько шагов, как бравый индус-полисмен протянул руку и указал ему пальцем на доску, прибитую к столбику. На ней по-английски и по-китайски красовалась надпись: «Только для европейцев».

Ван понял; но он так был занят своими мыслями, что обидный смысл надписи не оскорбил его, а как-то скользнул по нему, не задевая.

Ван смутно вспоминал потом, что он где-то ходил, останавливался у окон каких-то магазинов и внимательно рассматривал выставленные вещи; где-то что-то ел, опять ехал на рикше, но все делал как во сне. Не ОН ходил, не ОН ехал, а ЕГО вели, ЕГО кормили, ЕГО везли...

Под вечер рикша привез его к тому бордин-хаузу, в котором он остановился. Очевидно, Ван уже знал свой адрес и сказал его вознице. Войдя в свою комнату, Ван сел на стул, и здесь из хаоса беспорядочных дум у него мучительно выделилась одна мысль: придет ли она сегодня, или нет?..

В дверь постучали. Ван поднял голову и сначала не понял. Стук повторился.

— Войдите, — сказал Ван.

Дверь отворилась и вошел дон Луис.

Ван обрадовался: ведь это же была нить, связывающая его с незнакомкой...

— Ах, г. Лу! Как я рад, что вы пришли. Вы, конечно, останетесь здесь до обеда?

— Гм... Не знаю, господин Ван, удастся ли нам сегодня вместе пообедать?!

Ван встревожился:

— Как так? Что же может помешать?

— А вот что, — сказал Луис, подавая Вану маленький

розовый конверт из плотной рубчатой бумаги, надушенный приятными, но сильными одуряющими духами.

— Это... это что? Кому? — спросил недоумевающий Ван.

— Это — письмо, и письмо — вам!

У Вана застыло сердце в предчувствии чего-то необычного, волшебного.

— От кого же? — едва мог он выговорить. — От нее!

Ван больше не расспрашивал — он знал, что она только может быть одна, его прекрасная незнакомка... Сердце бешено забилося, в глазах потемнело, и Ван вынужден был сесть на стул. Он так растерялся, что вертел письмо в руках.

— Да прочитайте же, что вам она пишет!

Ван распечатал конверт. На узком, длинном, одинаковом с конвертом листке бумаги с золотой каймой тонким, отчетливым почерком было написано:

«Mr. Wang,

Please be so kind to come to me tonight together with Mr. Louis».

И затем прибавлено и подчеркнуто: «if you like».

Ван все-таки настолько знал английский язык, чтобы понять несложный текст записки.

— Что она вам пишет? — спросил Луис. Ван протянул ему записку.

— «Господин Ван, — читал дон вслух, — будьте любезны, приходите ко мне сегодня вечером вместе с господином Луисом. Если вы хотите».

— Н-да, записка ничего, приятная... Что же, вы пойдете?

— Я, право, не знаю, можно ли? — проговорил Ван, хотя ему хотелось крикнуть: «Да разве я могу не пойти?».

— Ну, если идти, так идти, — торопил Луис, — а то поздно будет!

Ван наскоро привел себя в порядок, надел сюртук, пальто, и они вышли. Полная огромная луна только что взошла; ветер стих, был редкий для Шанхая вечер: ясный, сухой, тихий и холодный.

Взяв первых попавшихся рикш, они поехали: Луис — впереди, Ван — сзади. Вану показалось, что они очень много раз поворачивают, даже как будто второй раз проезжают по некоторым улицам. Впрочем, он на это не обратил особого внимания, потому что был занят другим.

«Если хотите, если хотите...» Как вам это нравится?.. «если хотите!» Зачем она прибавила эту фразу? Разве можно не хотеть?..»

Ван не заметил, как они остановились у подъезда небольшого углового двухэтажного или, вернее, полуторазэтажного дома, причем нижний этаж был полуподвальный. Очевидно, это был один из домов, построенных давно, вероятно, вскоре после возникновения европейского города.

На нижнем этаже было темно; на втором, сквозь спущенные драпировки, чуть пробивался свет.

Посреди дома была дверь под навесом, и на ней, около ручки, был привешен на цепочке молоток, игравший роль звонка.

Луис постучал молотком. Через несколько секунд замок мягко щелкнул и Луис отворил дверь. Они вошли в сени, освещенные одной лампочкой. Справа — лестница вела вниз, очевидно, на нижний этаж, а слева — поднималась вверх, на верхний этаж, и оканчивалась на площадке, на которую выходили две двери: справа и слева. Левая дверь была полуоткрыта. Гости вошли в переднюю, из которой дальше в открытую дверь была видна небольшая, отлично обставленная комната, середину которой занимал круглый китайский резной стол, так называемый ба-сянь чжо-цзы, т. е. «стол для восьми духов» (персон).

— Ну что же, господа, вы не идете, — раздался немного глухой и низкий голос хозяйки.

Луис уступил дорогу Вану, и они вошли из передней в комнату. Ван был положительно ослеплен: если там, вчера, в простом платье она показалась ему красавицей, то теперь — это была богиня. Роскошное шелковое полупрозрачное платье с большим вырезом на спине и на груди и полное отсутствие рукавов позволяли любоваться античной формой рук, шеи и груди. Маленькая диадема, правда, из слиш-

ком крупных камней, венчала пышную прическу. Но лучшим украшением были, конечно, глаза. Никогда, ни у китаянок, ни у японок, ни у европейских дам не видал Ван таких глаз: огромных, бездонных, манящих и пугающих.

— Ну, господа, вы, вероятно, голодны. Я отпустила свою прислугу, а поэтому я сама буду хозяйничать — извините меня!

И она вышла.

Ван осмотрелся. В комнате было три двери: одна, в которую они вошли; в другой стене — вторая, в которую сейчас вышла хозяйка; и в третьей стене — третья. На четвертой стене было три окна, закрытые плотными занавесками, и выходящие, очевидно, на сторону подъезда. На стоявшем посреди комнаты круглом столе стояло три прибора, полуевропейские, полукитайские: рядом с вилками, ножами и бокалами лежали куай-цзы (палочки для еды) из черного дерева с серебряными наконечниками, цзю-ху из белого металла для подогревания китайского вина и маленькие фарфоровые чашечки с просвечивающим насквозь рисунком. Китайские сласти — деликатесы китайского стола, ваза с фруктами и несколько свежееоткрытых бутылок вина, а также белоснежные скатерти и салфетки, не полагающиеся у китайцев, дополняли смешанный характер сервировки. Стулья и кресла строго согласовались в стиле со столом, хотя, очевидно, вовсе не являлись столовой мебелью.

Хозяйка вошла, держа в руках поднос с несколькими чашками.

— Вы меня извините, дон Луис, но я сегодня решила быть китаянкой, а поэтому европейских блюд вы не дожде-тесь, и вам придется уйти голодным!

Ван понял, что обед приготовлен специально для него, и был обрадован, польщен и даже смущен чрезвычайно.

Начался обед, лучшей приправой которого были красота, веселость и остроумие хозяйки. Говорили по-английски, переходя иногда на китайский. Ван многого не понимал, но смеялся от всего сердца. Он искренне удивлялся, как могла прекрасная хозяйка справиться со своей ролью и хозяйки и слуги; конечно, весь обед был приготовлен зара-

нее и стоял готовым в соседнем помещении, но все-таки хозяйка так быстро, так ловко убирала лишнюю посуду и приносила новые кушанья, что приводила Вана в изумление...

— Ну, господа, — сказала хозяйка, — что же у вас такой холодный обед? Давайте-ка его разогреем по-китайски... Давайте играть в хуа-цюань!

Предложение хозяйки было встречено с восторгом; вино налито в бокалы и началась игра. Луис и Ван, сжав правые руки в кулаки и подняв руки, одновременно выкидывали один или несколько пальцев и в тот же момент выкрикивали какую-либо цифру (не более десяти) и прибавляли определенное присловье*.

«Сань-син!» — «У-куй!» — «Ба-сянь!» — «Лю-шунь!» — Ага, ага, лю-шунь, — горячился Луис, — вы проиграли, г. Ван! Пейте, пейте!

Это Луис угадал сумму выброшенных обоими игроками пальцев: он выбросил два, а Ван выбросил четыре; вместе оказалось шесть — «лю».

— Теперь я хочу играть с вами, г. Ван, — предложила хозяйка.

* * *

«Эр-цзя!» — «Ци-цяо!» — «Цзю-лянь-дэн!» — «И-пин!»
«Цюань фу-шоу!» — А, цюань-фу-шоу; цюань-фу-шоу — за-

* Примечание: Самые распространенные присловья следующие: и-пин — первый ранг; эр-цзя — титул ученого, выдержавшего третьим последние, академические экзамены; сань-син — три звезды: счастья, богатства и долголетия; сы-цзи — четыре времени года; у-куй — пять первых ученых; лю-шунь — шесть благополучий; ци-цяо — свидание небесного пастуха с небесной ткачихой в 7 день 7-го месяца; ба-сянь — восемь даоских духов; цзю лянь дэн — «девять фонарей» — название знаменитой пьесы; цюань фу шоу — полное счастье и долголетие.

хлопала хозяйка в ладоши; она угадала: и она, и Ван выбросили по пяти пальцев.

Игра продолжалась, Ван часто проигрывал, пил и пил... В голове у него шумело, но он был радостен и счастлив.

Но дон Луис сделался молчаливым и пасмурным.

— Что мы по-детски играем? Играть — так играть, — сказал он.

— А на что? — спросил Ван.

— Конечно, на деньги!

— Идет! — согласился Ван.

— Почему ставка?

— По десять долларов.

— Идет!

Снова началась игра, и снова проигрывал Ван. Перед Луисом выросла порядочная пачка кредиток, перед притихшей хозяйкой пачка была поменьше.

Вану было очень неприятно проигрывать, но он чувствовал, что остановиться не может.

Вдруг хозяйка встала:

— Ну, господа, довольно! — И, собрав в кучу все деньги, бывшие как перед Луисом, так и перед ней, она положила их перед удивленным Ваном и сказала:

— Прячьте!

— То есть как, зачем прятать?! Ведь вы и г. Лу выиграли эти деньги!

— Что вы, что вы, г. Ван! Неужели я могу допустить, чтобы у меня шла серьезная игра на деньги, да чтобы к тому же гость проиграл... Прячьте, говорят вам! Да не комкайте в карман, а положите аккуратно в бумажник — ваши деньги не заслуживают того, чтобы вы с ними так небрежно обращались!

Вану было и неловко, и легко, и радостно на душе: во-первых все, что он считал потерянным, неожиданно вернулось к нему; а во-вторых, образ пленительной женщины стал еще ярче, еще обаятельнее...

Луис хмуро следил, как Ван прячет деньги. Хозяйка властно, в упор посмотрела на него, и он отвел свои глаза в сторону.

— Ну, господа, отдохнем немного; мы от игры разгорячились... Да вот беда: все я могу сделать, а шампанского заморозить не умею!.. Не поможет ли мне кто-либо из вас, господа?

Ван не вполне понял, о чем идет речь, и недоумевающе молчал.

— С удовольствием, — отвечал Луис.

— Весьма вам признательна; там в кухне под столом в мешке лед, а на столе стоит ваза и шампанское.

Луис ушел в ту дверь, откуда хозяйка приносила кушанье.

В ту же минуту женщина схватила Вана за руку и, приложив палец к губам, быстро повела его в третью дверь, за которой оказалась спальня. Хозяйка подвела Вана к окну, выходившему в переулочек. Луна светила и все было отлично видно.

— Здесь, — указала она вниз на навес, — задняя дверь, к которой ведет лестница от кухни. Через час возвращайтесь, — прибавила она, вкладывая что-то в руку Вана. И опять, приложив палец к губам, она потащила гостя назад в столовую.

И было пора, потому что едва они сели и приняли непринужденные позы, как в дверях появился Луис, неся в руках белую блестящую вазу, наполненную льдом, из которой косо торчала головка шампанской бутылки.

Пока Луис раскупоривал бутылку, Ван ощупывал у себя в кармане предмет, переданный хозяйкой.

«Ключ! Да, ключ... Несомненно, от двери, ведущей из переулочка в дом...»

Никогда в жизни Ван не испытывал такой радости, такого прилива жизни, как теперь... Вероятно, шампанское подействовало на него — он шутил, смеялся, пел, так что Луис его не узнавал...

Наконец, Луис стал собираться.

— Уже полночь, г. Ван, пора и по домам!

Хозяйка гостей не удерживала; только прощаясь, крепко, по-мужски, пожала руку Вану и выразительно на него посмотрела.

Выйдя на улицу, Луис протянул руку:

— До свиданья, г. Ван; не знаю, увидимся ли мы завтра!

Ван ничего не сказал, но подумал: «И хорошо! Ты теперь мне больше своим не нужен, только будешь мешать!»

Дон Луис подозревал проходившего ночного рикшу, Ван — другого, и они разъехались: один — направо, другой — налево.

Но, проехав немного, Ван остановил рикшу, заплатил ему, и вернулся пешком назад.

Вот и ее дом... Все тихо; сквозь драпировки окон еще виднелся

Завернув за угол в переулок, Ван нащупал в кармане ключ. Нет, не потерял... А вдруг не подойдет?.. Тогда, значит, все это сплошная ошибка...

Холодок заполз в сердце Вана. Дрожащей рукой, озираясь, не идет ли полицейский или случайный прохожий, он вложил ключ в скважину американского замка, повернул... и дверь бесшумно открылась.

Он поднялся ощупью по лестнице, нащупал на верхней площадке вправо дверь, распахнул ее и очутился в столовой, которую он недавно покинул.

При звуке его шагов из спальни вышла прекрасная хозяйка и, протянув ему обе руки, крепко пожала их. Он снял пальто; она унесла его в спальню и вернулась. Прижавшись к молодому человеку, она подвела его к столу.

— Садитесь, — обворожительно улыбнулась она, и положив ему руки на плечи, заставила его сесть, когда он, по обычаю, начал было церемониться, — я хочу кое-что у вас спросить. Скажите, пожалуйста, г. Лу на словах передал вам мое приглашение, или же...

— Нет, г. Лу передал мне вот это письмо...

И Ван вынул розовый конверт.

— А я боялась... Вы все в нем поняли, мистер Ван, — продолжала молодая женщина, беря письмо из рук Вана, — ведь вы достаточно хорошо владеете английским языком; ну, читайте, я посмотрю!

Смеясь и ласкаясь, она заставила Вана прочитать письмо вслух, поправляя его произношение.

— Да вы отлично будете говорить и читать по-английски, если... если только у вас будет хорошая учительница, — хохотала она и, разорвав письмо на куски, бросила его под стол.

Оказалось, что хозяйка сказала раньше неправду, что не умеет замораживать шампанского: на столе в вазе со льдом стояла свежая бутылка шампанского, а рядом — бисквиты и фрукты.

— Ну, дорогой мой, — продолжала красавица, стараясь ободрить смущенного Вана, — теперь нам никто не помешает; теперь мы можем продолжать нашу игру...

— Какую игру? — спросил растерявшийся Ван.

— Какую? В хуа-цюань, — звонко и весело расхохоталась хозяйка.

— Идет, — развеселился Ван.

— Ну, откройте бутылку!

Ван снял проволоку, раскачал пробку — этому он выучился еще в Японии и, когда она с выстрелом вылетела — налил два бокала.

Началась игра. Хозяйка играла отлично, и скоро всю бутылку выпил один Ван. В голове у него шумело, сердце сильно билось, ему было невыносимо жарко.

Молодая женщина села на ручку его кресла и обняла его одной рукой.

— Вам жарко, мой дорогой? Вы не стесняйтесь — снимите куртку, ведь здесь никого нет!

Ван находился в состоянии полного довольства; он готов был прижать к сердцу весь мир, убедить его можно было в чем угодно и, конечно, он не думал сопротивляться хозяйке. Он снял куртку, который она тоже отнесла в спальню, и тяжело опустился в кресло. Электрическая висючая лампа почему-то описывала неправильные круги перед его глазами, все тело сделалось каким-то невесомым, а кресло мягко плыло под ним...

Глаза его невольно смыкались, когда он снова услышал около себя бесконечно милый голос:

— Ну, Ван, давайте снова играть, только в игру более серьезную... Если вы выиграете десять раз — то вы выиграе-

те... меня. Хотите?

Как сильно ни сковывало вино мозг и все тело Вана, но это неожиданное предложение сразу подняло его энергию. «Ага, — подумал он, — вот оно, начало того конца, о котором он раньше и мечтать не смел... А говорят еще, что европейские женщины недоступны!.. Впрочем, вероятно, она впервые видит такого китайца, как я: молодого, красивого и по-заграничному образованного!..»

И он с жаром принялся за игру, азартно выкрикивая цифры и присказки. Сначала судьба ему улыбнулась — он выиграл несколько раз, но потом стал проигрывать и хозяйка заставляла его пить.

Вдруг молодая женщина остановилась на минуту, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом подошла к Вану, села на ручку его кресла, и обняв молодого человека одной рукой, спросила:

— Знаете ли вы, мистер Ван, что такое поцелуй?.. Нет, не знаете!.. Ведь ваши женщины — соломенные куклы и не учат вас искусству целоваться!

С этими словами она прильнула горячими устами к губам Вана.

Конечно, Ван, как и все китайцы, не имел понятия о поцелуе. Новое, могучее ощущение властно охватило его, голова закружилась, он охватил горячее тело женщины...

Сильный стук раздался в дверь, ведущую в переднюю. Женщина в ужасе вскочила, схватившись за голову.

— А, каррамбо, откройте! — грозно кричал чей-то голос, и удары сыпались в дверь один за другим. — Проклятие! Откройте или я сломаю дверь!

— Беда! — шептала женщина с остановившимися от ужаса глазами. — Это мой жених! Если он увидит вас — он убьет и меня, и вас! Спасайтесь скорее по черной лестнице!

У Вана в один миг вылетел хмель из головы. Он бросился к кухонной двери, распахнул ее, кубарем свалился с лестницы и долго дрожащими руками в темноте не мог нащупать пуговки американского замка и повернуть его. Наконец, дверь распахнулась.

Едва он выскочил на тротуар, как вдруг, перед самым

его носом, что-то крупное и мягкое упало на камни. Испуганный Ван остолбенел на мгновение; в этот момент упало еще что-то. Ван нагнулся и схватил это «что-то» рукой. К величайшей его радости он убедился, что это — его пальто и сюртук...

Пробежав квартала два, он надел сюртук и пальто. Даже его мягкая шляпа была предусмотрительно засунута в рукав...

Наняв рикшу, Ван благополучно к двум часам ночи добрался до дому. В кармане пальто, как всегда, оказалась мелочь для уплаты рикше, и через минуту он сидел уже в своей комнате.

Тут только, когда он почувствовал себя в полной безопасности, нервы его упали и он ощутил страшную усталость. Едва успев сбросить верхнее платье, как сноп свалился он на кровать и заснул мертвым сном.

Проснувшись на другой день с жестокой головной болью, он долго не мог вспомнить: что такое было вчера?

Первое, что пришло ему на ум, было «Лу сян-шэн», т. е. господин Лу... И вдруг его память озарила молния: он сразу вспомнил все...

Много странного, неприятного, обидного для самолюбия было во всей этой истории; и лишь образ прекрасной иностранки блестел яркими лучами перед мысленным взором Вана...

Недовольный собою, молодой человек взял поставленный в коридоре у его двери кувшин с горячей водой, умылся и начал одеваться. Сегодня он непременно должен разыскать господина Цзинь.

Надев жилет и взяв в руки часы, он убедился, что забыл их завести. Затем он надел сюртук и хотел идти в табльдот, чтобы закусить. Машинально опустив руку в левый внутренний карман сюртука чтобы проверить, есть ли с собою деньги, Ван бумажника там не нашел. Пощупал в правом кармане — тоже нет...

Ужас овладел им. Он ясно помнил, что большую часть своих денег положил в бумажник, а бумажник он всегда клал в левый карман... Но, быть может, он ошибся или вы-

ронил?..

Ван осмотрел всю комнату, все углы, все карманы... Нет...

Бумажник исчез. Но где, когда?..

Назойливо напрашивалась мысль, что... Но нет: ведь она отдала ему все деньги, выигранные доном Луисом, она бросила ему платье, она вела себя так хорошо, так благородно, что заподозрить ее решительно ни в чем нельзя...

Ван не хотел омрачать в своем представлении светлого, пленительного образа прекрасной иностранки. Очевидно, бумажник вывалился из кармана, когда сюртук был брошен ему из окна спальни; и теперь какой-либо рикша или ранний прохожий, натолкнувшийся на бумажник утром, сделался счастливым обладателем его денег.

Ну, а если заявить полиции?.. Начнется следствие, огласка, а он не знает ни места, где находится дом иностранки, ни ее имени... Если даже и найдут ее дом — ее ли это квартира? И кто видел, что он, Ван, был там? Чем он подтвердит наличие при себе крупной суммы денег и ее пропажу? Как он расскажет, при какой обстановке деньги были потеряны?.. Кто был свидетелем? Дон Луис? Да, быть может, он и не «дон», а и «дон», да не Луис; а если и дон, и Луис, то где его теперь найдешь? Мало ли Луисов в Шанхае?.. Притянуть бы к ответу хозяйку бордин-хауза? Да она скажет, что впервые видела дона Луиса... Быть может, она будет и права. Ее консул непременно заступится за нее, и ничего не добьется... «А как на меня взглянет она, если мне придется с нею встретиться в суде, причем я дело непременно проиграю?! А если меня привлекут к ответственности за клевету?!»

Во всяком случае, ясно одно: огласка будет страшная; газеты все поднимут меня на смех, и я навсегда потеряю лицо.

Нет, уж лучше никому ничего не скажу. Хорошо еще, что часть денег сохранилась в саквояже — по крайней мере, будет на что прожить, пока отец снова не придет!..»

Чудный образ прекрасной иностранки долго оставался незапятнанным в памяти господина Вана — пока он однажды не узнал, что он — не случайная и не единственная жертва; кроме него, было много других, пострадавших при совершенно таких же обстоятельствах.

Найдя господина Цзинь и оглядевшись в Шанхае, он узнал, что целая компания разных Луисов и их «невест» обрабатывают таких, как он, пижонов, и что он отделался еще счастливо.

* * *

Теперь господин Ван занимает крупный пост. Он — либерал, но в вопросах, касающихся европейцев, является консерватором и крайним националистом.

ИСТОРИЯ КАПИТАНА ДОГЕРТИ

П. В. ШКУРКИН

ИСТОРИЯ
КАПИТАНА
ДОГЕРТИ



«ЗЕМЛЯ КОЛУМБА»

Введение. Род Догерти. Капитан Догерти — летчик-наблюдатель и командир батареи. Нижний. Одна батарея против одиннадцати. Командующий войсками и большевистские парламентареры. Похороны 5-ой Финляндской батареи.

— Чем вы, Джон, недовольны?

— Хорошо вам говорить, Корнэл! У вас есть дом, сад, семья, богатейший жизненный и научный опыт, и вы ничем не связаны: что вы хотите, то и делаете. А я совсем в другом положении: я раб своего издателя; я должен, я обязан ежемесячно поставлять по роману в его журнал. Откуда взять темы? Обо всем уже написано, все уже выдуманно; а читатель требует необыкновенных положений, захватывающих приключений; герой должен пройти через огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы, и все таки, в конце концов оказаться живым и здоровым... Мне это так надоело, что я больше ничего выдумать не могу!.

— Ну так и не выдумывайте! Возьмите жизнь и пишите с натуры.

— Легко вам говорить — «с натуры»!.. Мне — 26 лет; что я знаю, что я видел в хай-скул, а потом в университете?.. Вот вы — другое дело: вы были в Европе, в Африке, в Азии, вы участвовали в трех войнах, — вам есть что вспомнить. Расскажите что-либо о себе, дайте тему для рассказа!..

Старый полковник помолчал.

— Хорошо, — сказал он через минуту, — я расскажу вам кое-что, но только не про себя, а про одного из моих немногих друзей, подполковника, — дадим ему фамилию, хотя бы, Догерти... Но я — плохой рассказчик, и дам вам только тему, а уж вы ее разработайте, как хотите.

Так как сам герой моего рассказа и многие из действующих лиц живы и здравствуют до сих пор, то, по понятным причинам, прошу разрешить мне изменить некоторые имена и названия местности.

Род Догерти происходит из Англии, где осталась одна его ветвь; представители ее известны в науке. Другая ветвь переселилась в Швейцарию при «королеве-девственнице», у которой не было мужа, а только несколько любовников. Прадед подполковника Догерти переселился из Швейцарии в Россию. Наш герой, Евгений Догерти, окончил Кадетский корпус и Артиллерийское военное училище, а впоследствии — Восточный институт. Изучение китайского языка, нравов и обычаев Востока не прошло ему даром: он сделался не только прекрасным китаистом, — но пристрастился к китайскому укладу жизни, китайским кушаньям, а также... к опиуму. Но последнее обстоятельство было известно только его жене, Елизавете Михайловне, прекрасной музыкантше и очень нервной женщине, да немногим его друзьям. Все это не мешало ему быть отличным офицером, тоже талантливым музыкантом и остроумным собеседником.

Великая Война застала его капитаном. Во время длительного сидения в окопах, Догерти умудрился посеять мак впереди окопов. Мак растет и цветет очень быстро, и Догерти успел надрезать головки мака, собрать сок и приготовить опиум. Кроме того, сидя в окопах, он продолжал изучать философию великого Кун Цзы (Конфуция).

Вскоре он делается наблюдателем на одном из бракованных старых аэропланов, которыми снабжали нас французы, и летает на нем над расположением немецких войск; а затем захотел идти в строй по своей основной специальности, и получает в командование 5-ю Финляндскую батарею.

Но вот распорядителем армии делается Абрам Кирбис (Керенский), не имевший о военной службе ни малейшего понятия; издается знаменитый приказ номер 1, разложивший русскую армию; было введено выборное начало, и кавалерийскими полками стали командовать ветеринарные фельдшера, а артиллерийскими батареями — портняжные подмастерья.

Те части, которые еще не успели разложиться, — спешно отводились подальше от линии фронта, и Догерти со своей 5-ой батареей, в числе других двенадцати батарей, оказался в городе, ну, скажем, в Нижнем Новгороде. Не удивляй-

тесь, что Финляндская батарея пришла в глубь России: в то время Финляндия (отвоёванная от Швеции в 1809 году), принадлежала России, и финляндские артиллерийские части только носили название «финляндских», а в действительности состояли из русского состава и принадлежали к Русской армии.

Нижний был очень важным военным пунктом. Колоссальный арсенал, пороховые и артиллерийские склады, амуниционные заводы, запасы правительственного золота, наконец, богатый, многолюдный, промышленный город, «столица Волги», в центре хлебородного района, — Нижний замыкал Европейскую Россию с Востока и сторожил вход в Азиатскую Россию.

Большевики понимали значение Нижнего Новгорода; и, чтобы овладеть им, употребили испытанное средство: пропаганду и разложение гарнизона.

Офицеры всех сосредоточенных в Нижнем войсковых частей, собравшись вместе, постановили поддерживать в своих частях дисциплину всеми силами, и самым показывать пример нижним чинам. Поэтому все распоряжения командующего войсками, полковника Генер. штаба Андреянова, выполнялись с подчеркнутой точностью и быстротой. Но подосланные агитаторы и разлагатели делали свое дело; не только отдельные солдаты, но даже целые части изменяли знамени, переходили на сторону большевиков и уходили из города. Артиллеристы не составляли исключения; и вскоре одиннадцать батарей, частью перебив, частью арестовав своих офицеров, — ушли из Нижнего, расположились полукругом около города и стали его обстреливать. Произошли страшные взрывы: то взлетели на воздух пороховые погреба.

Но сколько ни стреляли эти батареи, все-таки нащупать сердце защиты, которое отстаивали немногие верные части и ОДНА батарея, — бунтовщики не могли. Это было потому, что у них не было ни одного офицера, а солдаты сами не умели обращаться с недавно введенными в артиллерии сложными прицельными приборами и не умели стрелять по невидимой цели.

Батареей, оставшейся верной, командовал капитан Догерти; помощником его был поручик Воскресенский. Догерти знал и любил солдата, и употреблял все усилия, чтобы скрасить его жизнь. Во-первых, половину своего жалования он отдавал на батарейный котел; во-вторых, никогда не позволял солдату быть праздным: после необходимого отдыха, он устраивал беседы на всевозможные темы, включая политические или театральные представления, или читал лекции о русской истории, о Китае и Японии, давал советы по всем вопросам, возбужденным солдатами, и т. п. ... Солдаты его очень любили; а фельдфебель его батареи, Бирюлин, гигант с четырьмя Георгиевскими крестами, — готов был отдать жизнь за небольшого, худощавого и моложавого своего командира.

Елизавету Михайловну, ласковую жену Догерти, солдаты часто видели в казарме, и тоже любили и уважали ее, — она была всеобщей заступницей и печальницей, и не считала ниже своего достоинства положить солдату заплатку на рубаху, пришить крючок или пуговицу к мундиру, написать письмо солдатской жене в деревню.

Догерти расположил свою батарею в городе на низком пустыре, никем не занятом потому, что во время дождей здесь было болото. Небольшие домики и усадьбы подходили к пустырю задами со всех сторон.

Догерти через своих разведчиков отлично знал места расположения взбунтовавшихся батарей. Он направил огонь своей батареи против одной из восставших батарей, — и через полчаса все ее орудия оказались подбитыми. Затем Догерти перенес свой огонь на следующую батарею; вскоре замолчала и она. Остальные девять батарей засыпали снарядами районы Университета, Верхней и Нижней Лядской улиц, но не только не могли сбить 5-ю Финляндскую батарею, — но даже не могли точно нащупать ее положение.

Вечерело. Солнце зашло за правый высокий берег Волги; туманная дымка окутала город. Бунтующие батареи радовались наступающей темноте, как передышке от убийственного огня «белого» врага.

Но они ошиблись. Догерти не нуждался в дневном свете: он лично определял расстояния и наводил орудия, — его снаряды ложились почти без промаха.

Прошло еще два дня, и из одиннадцати батарей десять были сбиты; осталась только одна, последняя. Но и ее, несомненно, ожидала та же участь...

Бунтовщики это понимали. Они попросили перемирия, и парламентары их: матрос, закройщик и артиллерийский ветеринарный фельдшер явились к полковнику Андреянову.

— Помилуйте, товарищ, — говорили они Андреянову, — эта ваша батарея у нас столько народу погубила, что у нас скоро прислуги на одну батарею не наберется! Вы — русский, и мы — тоже; а вы нас, своих братьев, бьете так, как немцы никогда не били. Заставьте батарею разоружиться, — у нас ведь тоже артиллерии больше нет, — и мы поклянемся, что прекратим всякие враждебные действия. Вы останетесь на месте, мы — тоже, — места на всех хватит! Прекратятся бои, драки, мы столкнемся, и вся наша война прекратится. А мы никому мстить не будем, — пальцем не тронем, отпустим на все четыре стороны!..

Андреянов был или очень молод, или очень измучен; перспектива примирения пришлась ему по душе. Он вызвал к себе Догерти.

— Капитан, — сказал он, — вы присягали беспрекословно исполнять приказания начальства?'

— Да, — ответил Догерти.

— Я знаю, что вы безукоризненно дисциплинированный офицер... Так вот: довольно крови, довольно вражды! Я приказываю вам немедленно прекратить стрельбу, и завтра сдать орудия представителям противной стороны. Я клянусь вам честью, что ни вам, ни вашим людям не будет причинено ни малейшей неприятности; необходимо только остановить бесполезное пролитие крови... Так ли я говорю? — обратился он к «парламентарам».

— Так, так точно, верно, мы никого пальцем не тронем, лишь бы они орудия отдали!

Догерти видел, что возражать бесполезно. Он пожал пле-

чами:

— Слушаю, господин полковник. Как, когда, где и кому должна произойти сдача?

— Завтра утром. Вы приведете свою батарею во двор Военного училища; там и произойдет сдача. Остальные распоряжения получите там же.

— Слушаю. Только, г-н полковник, не откажите дать мне письменное предписание,

— Конечно!

— Могу идти?

— Можете; до свидания.

Андреянов подал руку Догерти в знак того, что аудиенция окончена, и Догерти, возмущенный детской доверчивостью командующего, вышел из помещения штаба. Но ослушаться он не мог: кто, как не он, не так еще давно на собрании офицеров так горячо распинался о дисциплине и безусловном послушании приказаниям начальства?!

Злой и с горьким осадком в душе, пришел Догерти в свою батарею. Спокойным, но каким-то деревянным голосом, он отдал приказание батарее в 6 часов утра быть во дворе здания Военного училища. Затем он выстроил людей батареи, приказал разводящему снять часового от денежного ящика, и здесь же, перед глазами всех людей, разделил все деньги и раздал поровну всем: канонирам, фейерверкерам, фельдфебелю и Воскресенскому; себе он взял тоже одинаковую со всеми долю.

Солдаты были поражены, не понимая, в чем дело...

Затем Догерти приказал достать скудный запас обмундирования и велел взводным фейерверкерам раздать его тем людям, у кого были плохие мундиры, шаровары или сапоги.

Огромный Бирюлин ходил мрачный, как туча: он догадывался, что все это делается неспроста, — очевидно, батарея пришел конец.

Когда одежда и белье были розданы, Догерти приказал офицеру и фейерверкерам отойти в сторону и обратился к солдатам:

— Есть ли у кого-нибудь какая-либо претензия?..

— Никак нет, — в один голос отвечали канониры.

— Точно на инспекторском смотре, — вполголоса проговорил Воскресенский, до тонкого слуха которого дошел допрос Догерти.

— Господа офицеры и взводные — по местам! — командовал капитан, — претензий нет!..

— Вот что, братцы, — продолжал Догерти, когда все заняли свои места в строю, — командующий войсками приказал мне завтра сдать все орудия и боевые запасы бунтовщикам. Он дал мне честное слово, что никому из вас не будет причинено никакого вреда, и никто не будет арестован; это подтвердили и вражеские парламентары. Но ведь вы знаете, как можно им верить... Поэтому завтра, после сдачи оружия, все вы можете считать себя свободными от службы: и мой совет — уходите скорей по домам... Разойтись!.. — выпустил он людей.

Большая группа солдат окружила Догерти; среди них был и Бирюлин.

— Ваше высокоблагородие, — обратился к командиру Бирюлин, — мы с вами всюду пойдем; куда вы, туда и мы!.

Догерти был тронут. Он обнял Бирюлина, для чего Бирюлин должен был нагнуться, и сказал:

— Спасибо, Бирюлин, и тебе, и всем нашим молодцам. Но только нам придется непременно разойтись: порознь мы, может быть, как-нибудь и уйдем от этих дьяволов; ну, а вместе никак не скроемся, и все мы попадем в их лапы!

Бирюлин поник головою, — он понимал, что командир прав...

Сдача батареи. Фельдфебель Бирюлин. Поиски револьверов. «Капитан убит». Осмотр. «Заверняев Иван». Прыжок в бездну.

На другой день 5-ая батарея с раннего утра была уже во дворе Нижегородского Военного училища. Четырехугольный плац был со всех сторон окружен двухэтажным зданием училища. Юнкера помещались во втором этаже, в который вели снизу две лестницы с противоположных концов здания, так что, поднявшись по одной лестнице и пройдя половину всего здания, можно было спуститься по другой.

Было ясное, но холодное утро. Догерти, одетый в полушубок с капитанскими погонами и с двумя прорезами на груди, водворял порядок; одну руку он все время держал в прорези на груди, как будто бы защищая ее от холода, а на самом деле он не выпускал из руки револьвера, ибо чувствовал, что ежеминутно могла разыгратись трагедия.

Скоро явился адъютант, представитель командующего войсками, а затем во двор ввалилось человек пятьдесят «приемщиков»: матросов, артиллеристов без погон и каких-то юрких людей, одетых в штатское, но которые распоряжались всем и с наглым видом отдавали приказания. Вся их толпа, бывшая безоружной, смотрела хмуро, злобно, но вела себя сдержанно, видимо, побаиваясь стоявших и сидевших на своих местах, около орудий и на передках, людей 5-й батареи.

Догерти спросил адъютанта:

— Кому же мне прикажете сдавать оружие?

— А вот... Кто у вас, товарищи, приемщик? — крикнул адъютант.

— Я, я буду приемщик, — выдвинулся здоровый, рыжий и наглый солдат-артиллерист.

— Я командер всех батарей!

Догерти начал сдачу по подробным ведомостям, заготовленным им за ночь.

— Ну, что там еще, — заговорил рыжий, — давайте все валом, а то одна волокита!

— Или принимайте все правильно и точно, по закону, или я прекращу сдачу, — заявил Догерти.

Рыжий чертыхнулся, но принужден был повиноваться.

Скоро сданы были орудия, зарядные ящики, снаряды, кони, сбруя, шашки... Шашки самого Догерти и Воскресенского также были сданы...

Наконец, ведомости были скреплены и подписаны Догерти и каракулями приемщика и затем переданы адъютанту, чувствовавшему себя очень скверно. Получив бумаги, он тотчас же исчез.

— Ну, товарищи, айда сюда, — крикнул рыжий солдат двум толпам своих единомышленников, запружавшим оба въезда во двор.

Догерти увидел, что небольшая кучка людей его батареи потонула среди нахлынувшей орды бунтовщиков, которые, в противоположность «приемщикам», — были все вооружены винтовками с примкнутыми штыками, а многие — еще шашками и револьверами.

— Ну, сукин сын, — обратился рыжий к Догерти, — теперь мы с тобой поговорим!..

Голова Догерти лихорадочно работала, как бы найти выход из этого положения; но его окружала толпа вооруженных солдат с звериными лицами. Заложённая в прорез полупружка рука сжимала револьвер, чтобы в критическую минуту пустить себе пулю в лоб.

— Я знаю, что вы меня сейчас убьете; но глядите, — там изо всех окон смотрят юнкера, а у них могут быть револьверы: они откроют по вас стрельбу из окон, и я не хотел бы, чтоб из-за меня одного погибло бы несколько десятков ваших жизней.

Аргумент этот, по-видимому, произвел впечатление.

— Нет, с. с., — снова заговорил рыжий, — мы тебя убьем не здесь, а сведем туда, где ты положил сотни наших своей батареей; да убьем не просто, а так, чтобы мать твоя испуга-

лась бы родить тебя, если б знала твою смерть! Да и мерзавца твоего фельдебеля туда же вместе с тобой отправим!

— Эй вы, сволочь, — крикнул Бирюлин, — запугать душаете нас? Врете, не на таких напали! — И он, сложив руки на груди, презрительно плюнул в сторону рыжего.

Толпа зарычала. В тот же миг десяток штыков вонзился в Бирюлина, и гигант, который продолжал ругать бунтовщиков, — был поднят штыками на воздух. Через момент тело его наклонилось и рухнуло вниз.

— Ну, такой сякой, — теперь скоро твоя очередь, — кричали солдаты, подступая к Догерти.

Капитан хорошо видел, что толпе, разожженной кровью, ничего не стоит разорвать его на куски, — стоит только начать одному.... Поэтому Догерти подступал вплотную к каждому солдату, говоря с ним, чтобы тому было невозможно нагнуть ружье и воткнуть в него штык.

— Ребята, — убить вы меня всегда успеете: но смотрите, там глядят юнкера, — а револьверы у них не отобрали!

— Ты знаешь, где револьверы? — спросил рыжий.

— Знаю, — хотя в действительности идея о револьверах пришла ему на ум лишь тогда, когда он увидел лица юнкеров, выглядывавших из окон; он отлично знал, что в вооружении юнкеров пехотного училища револьверов не бывает. Ружья же у юнкеров были отобрали раньше. — «А ведь я никогда в училище не был», — промелькнула мысль в голове у Догерти.

— Нужно отобрать у них револьверы... Ну, веди, показывай, — продолжал рыжий.

— Что же, — сказал Догерти, — кто пойдет со мной? Как по вашему, сколько нужно людей, чтобы я не убежал от вас?

— Что ж, четырех довольно, — сказал рыжий, оглядывая невысокую фигуру офицера.

— Ну, пойдем, — произнес Догерти, обращаясь к нескольким ближайшим солдатам, и направился ко входу на лестницу. За ним шли четверо бунтовщиков с ружьями.

Догерти чувствовал, что, если он не создаст теперь какого-либо выхода, — то такой возможности больше ему никогда не представится.

В крайнем случае, нужно было оттянуть неизбежную, безусловную и мучительную смерть. Он стал подниматься по лестнице. На площадке второго этажа были две двери: одна — направо, другая — прямо. Не показывая вида, что ему незнакомо расположение комнат, он уверенно открыл правую дверь. Перед ним была довольно большая, почти пустая комната: на противоположной стене, — полуотворенная дверь; направо, у стены, между окнами, стоит небольшой столик с выдвижными ящиками. Налево, у другой стены, стоял поручик Воскресенский с каким-то офицером, вероятно, бывшим служащим училища, но на котором погоны были сняты.

Солдаты тоже вошли и остановились у входных дверей. Догерти подошел к столику и выдвинул наполовину верхний ящик: он был пустой.

— Здесь были револьверы: не знаете ли, где они? — обратился Догерти к Воскресенскому, отходя от стола.

Солдаты инстинктивно все обратились к молодому офицеру. Но не успел удивленный Воскресенский что-либо ответить, как Догерти бросился к полуоткрытой двери, проскочил в нее и закрыл ее за собою. Он очутился в небольшой пустой комнате, из которой вели две двери: одна — прямо, другая — влево. С животным инстинктом, просыпающимся в человеке в минуты смертельной опасности, Догерти в один момент наметил план действий: он бросился к левой двери, ведущей в небольшой, но пустой цейхгауз, — судя по голым полкам и, став за открытой дверью, — прикрылся ею....

Солдаты в первый момент были поражены и растерялись, а затем бросились, — сначала к столику, а потом за убежавшим. Но этих двух или трех секунд и нерешительности было достаточно, чтобы Догерти выполнил свой маневр.

Когда солдаты ворвались в следующую комнату, один из них заглянул в пустой цейхгауз, и, конечно, не заметил прикрытого дверью Догерти; затем все солдаты бросились в следующую дверь, ведущую в помещение юнкеров.

— Где капитан? Убег, убег, — кричали они.

Пробегая помещение роты и не видя нигде Догерти, они добежали до двери в противоположном конце ротного по-

мещения; не догадавшись оставить кого-либо на карауле в роте, все они сбежали по второй лестнице вниз, предполагая, что Догерти скрылся именно этим путем.

Этого капитану только и нужно было. Как только топот солдатских сапог затих, он тотчас же вышел из своего убежища и вошел в помещение юнкеров. Юнкера были в полном курсе дела: часть происшедшего они видели из окон, часть поняли из слов пробежавших солдат.

Едва Догерти показался в помещении роты, к нему сразу бросилось несколько юнкеров, которые молча, без слов, протягивали ему: один — юнкерский будничный мундир, другой — сапоги, третий — брюки, четвертый — очки, пятый стоял с бритвой, мыльницей и кисточкой.

И минуты не прошло, как Догерти был одет в юнкерское обмундирование. Отсутствие тулупа, сбритые усы и надетые очки так его изменили, что нужно было очень хорошо знать Догерти, чтобы отличить его среди сотен юнкеров. Сброшенное им собственное платье, взятое юнкерами, — куда-то исчезло.

Незадачливые конвоиры с криком: «убег, убег!», — сбежали с лестницы. Но солдаты, бывшие внизу у входа, уверяли, что никто не проходил....

— Он там, с. с., между юнкарями, — кричал рыжий, — мы его сейчас слопаем! Поставить караулы у всех выходов! Эй, кто здесь есть из людей 5-ой батареи?

Но никого, кроме бесчувственного Бирюлина, плававшего в луже крови, — из людей 5-й батареи во дворе училища не оказалось....

— Эх-ма, опростоволосились! — продолжал рыжий, узнав об этом, — их всех нужно было отправить в Могилевскую губернию... Ну, да ничего, — за всех ответит их командир!... Кто хорошо знает в лицо капитана Догерти?... Вот, ведь ты с ним сегодня разговаривал, — ткнул рыжий пальцем в одного из солдат, — ты и пойдешь со мной... И ты, и ты, — указал коновод человек на пять солдат и двух штатских.

Эта группа, усилив караулы у всех входов, поднялась на второй этаж.

— Эй, юнкarya, построиться!

— Строиться! — раздалась чья-то команда, и через полминуты все юнкера стояли, выстроившись в две шеренги.

— Смирно! Первая шеренга, четыре шага вперед: шагом марш! Кру-гом!

Таким образом, обе шеренги были раздвинуты одна от другой на пять шагов, и они стояли лицом друг к другу.

Ни один юнкер не шелохнулся; напряженное ожидание было написано на всех лицах, — они отлично понимали, что вопрос идет о жизни, или вернее, — о страшной, мучительной смерти человека, слава которого успела облететь весь город.

Рыжий подошел к правофланговому юнкеру-командиру (строевых офицеров в училище уже не было), заглянул ему в лицо, а затем полез в карман его мундира и брюк и осмотрел их содержимое. Удовлетворенный осмотром, он перешел к следующему. Его товарищи помогали ему...

Уже больше половины юнкеров было осмотрено и обыскано прежде, чем «ревизоры» подошли к Догерти: так как юнкера стояли по ранжиру, а капитан был среднего роста, — то он стоял ближе к левому флангу. У Догерти ни один мускул на лице не дрогнул, когда рыжий забрался в карманы его мундира; он был лишь бледен. Но бледных юнкеров было много....

Догерти сам не знал, что у него было в карманах. Рыжий вытащил из карманов брюк футляр от очков, какие-то веревочки, маленькую металлическую масленку и носовой платок...

Как Догерти был рад в душе, что юнкера торопились и не переложили ему из его офицерского платяа портсигара с его монограммой, подаренного ему когда-то друзьями, и бумажника с деньгами и некоторыми документами!..

Но радость его была, казалось, преждевременной: из правого кармана мундира рыжий вытащил небольшой четырехугольный кусок белого картона, нижняя сторона которого была оклеена зеленой бумагой. Догерти знал, что это — отпусной билет и вместе с тем — удостоверение его личности...

Догерти похолодел: сейчас могут спросить его фамилию, которой он не знает, да и голос может, пожалуй, выдать его...

К счастью, рыжий был малограмотный и не мог быстро прочитать имени и фамилии юнкера. Скосив глаза из-под очков, Догерти, имевший хорошее зрение, прочитал: «Заверняев Иван».

В первый раз за весь день щеки его порозовели: «Ага, еще поживем немного, дружище Заверняев», — промелькнуло у него в уме...

Но рыжий ничего не спросил и перешел к следующему юнкеру.

Осмотр продолжался безрезультатно до тех пор, пока не были осмотрены все юнкера.

Догерти не было... Но не мог же он исчезнуть?

Между тем свечерело. Никого из юнкеров не выпускали из здания; но несколько юнкеров, бывших днем в отпуску в городе, выпустили в роту, когда они вернулись в училище. Эти юнкера, не знавшие о том, что случилось в училище, из любопытства толкались некоторое время среди наполнявших училищный двор солдат прежде, чем идти в роты. Во дворе они услышали из разговоров солдат, что капитан Догерти не мог уйти из училища, только узнать его трудно. Но завтра в училище придет командующий войсками, хорошо знавший Догерти, непременно его узнает, и обещал уже выдать его солдатам на расправу...

Дело в том, что в этот день произошла революционным путем смена командующих войсками. Бунтовщики, не встречая больше за устранением Догерти никакого сопротивления, вошли в город, и командующим войсками назначили принявшего их сторону прапорщика Ершова. С уходом полковника Андреянова ушло и данное им честное слово о неприкосновенности Догерти и людей 5-й батареи.

Как только «ревизоры» ушли из роты, старший юнкерскомандовал: «Разойтись!», и что-то сказал одному из взводных. Юнкера разошлись, оживленно обсуждая события дня; а взводный, подойдя к Догерти, сказал: «Юнкер Заверняев, оправьте вашу постель, она в беспорядке; вот, смотрите!», и повел Догерти к одной из кроватей, расположенных по-

среди длинного ряда кроватей, идущих вдоль стены с многочисленными окнами. Вздвигая указательный палец на одну из кроватей, на которой одеяло было несколько смято...

Догерти отлично понимал, что ему указывают место отсутствующего Заверняева.

— Слушаю, г-н взводный, — ответил он лукаво.

В роту принесли ужин, — пускать юнкеров в столовую, расположенную в нижнем этаже, — бунтовщики не хотели. Догерти есть не мог.

Когда посуда была убрана, во дворе было уже совсем темно. Зажгли три лампы: две — у противоположных входов, и третью — посередине обширного помещения роты. Солдаты поставили двух часовых с ружьями у обоих входов, как раз около ламп.

Старший юнкер сделал перекличку, причем на фамилию: «Заверняев!», Догерти откликнулся: «Я!» После переклички юнкера были отпущены, разошлись по своим кроватям, и многие стали раздеваться.

Прошло еще полчаса. Все были уже в постелях.

— Что это за резкий свет такой бьет в глаза, прямо спать не дает! — сказал громко один юнкер. Он встал, подошел к средней лампе и потушил ее...

Никто не протестовал; часовые тоже: им было светло около их постов; но свет бил им в глаза, и они не могли видеть ничего, что делается вне освещаемого абажуром лампы светлого круга....

Говор и шум стали постепенно затихать.

Догерти лежал на кровати одетым, хотя и прикрылся одеялом.

Рядом с ним с одной стороны стояла пустая кровать. Вдруг кто-то тихо занял ее.

— Господин капитан! — чуть слышно донеслось до него, и в говорящем он узнал старшего юнкера.

В это время в училище уже было введено выборное начало, и юнкера выбрали своим командиром юнкера Ремизова. Выбор был удачным; Ремизов был видный, стройный,

умный, честный юноша, вдобавок, пользовавшийся у юнкеров большим авторитетом и умевший влиять на товарищей.

— Господин капитан, — продолжал Ремизов шепотом, — до утра все будет благополучно; но завтра утром сюда приедет Ершов, и сам будет искать вас, и, конечно, найдет... Вам необходимо, во что бы то ни стало, уйти отсюда.

Догерти понимал, что юнкер прав. Но как уйти? Выходов только два, и у обоих стоят часовые....

Догерти поднял голову и взглянул на окна, а потом на Ремизова. Юнкер утвердительно кивнул головой...

Догерти сбросил одеяло и соскользнул на пол. До ближайшего окна было всего шага три, и через несколько секунд он подполз уже к широкому подоконнику и бесшумно вполз на него. В нижней части окна рука нащупала двойной шпингалет. Догерти повернул ручку, — и оба запора, верхний и нижний, освободились. Он потихоньку нажал раму, и окно без малейшего шума распахнулось. В лицо Догерти пахнула холодная ночь, и перед глазами встала черная бездна...

Куда выходили окна? Он не знал, и спрашивать было некогда; одно было ясно, — они выходили не на училищный двор. За окном была полнейшая тишина.

Догерти, лежа на подоконнике, тихонько перевернулся и стал постепенно спускать ноги вниз, за окно, держась руками за порог рамы и отыскивая для ног точку опоры. Таковой не оказалось.

Полная тьма и ощущение неизвестности, незнание того, что находится внизу, — взвинтили нервы Догерти до крайности. Правда, он знал, что здание было только двухэтажным; но этажи были очень высокие.

Все-таки он заставил себя спустить все тело вниз. Он повис, держась обеими руками за наружный прилив окна. В этот момент страх охватил его с такою силою, что он решил вернуться и притянулся на руках... И увидел, что перед самым его лицом обе створки окна бесшумно закрылись....

Выбора больше не было. «Будь, что будет», — подумал он; закрыл зачем-то глаза и опустил руки...

Сильный толчок оглушил его так, что в первый момент он потерял сознание. Острая боль в коленях скоро привела

его в себя.

У него мелькнула мысль: «Не сломал ли я ноги?» И он похолодел, понимая, что с ним будет в таком случае....

Догерти ощупал ноги и руки: кости, к великой его радости, были целы; он только сильно ушибся оттого, что упал, как оказалось, на груды кирпичей.

**В колодце. Святой Давид. Монах. Монашеский пир.
Переодевание. Кладбище. Памятник.**

Тьма была полная. Догерти ощупал стену, и, придерживаясь ее, ощупью направился наугад вправо. Пройдя шагов двадцать, он наткнулся на другую стену, под прямым углом упиравшуюся в первую. Продвигаясь вдоль этой второй стены, Догерти удивлялся, что не встречает в ней ни окон, ни дверей.... Впрочем, быть может, в ней были окна на уровне выше человеческого роста?

Капитан решил вернуться назад и попытаться счастья в другой стороне. Тем же порядком, все время ощупывая стену, он отправился в обратный путь.

Вот угол, где сходятся обе стены. А вот и куча кирпичей, очевидно, оставшихся от ремонта, на которую он упал...

Догерти перелез через кучу и двинулся влево, все придерживаясь стены. Но едва он сделал шагов десять, как снова уперся в угол: новая стена упиралась в здание училища. А если и четвертая сторона будет замкнута четвертой стеной? Тогда он, очевидно, попал в какой-то замкнутый со всех сторон внутренний двор...

Догерти пошел вдоль третьей стены более уверенно, но все же продолжал ее нащупывать.

И вдруг рука его наткнулась на углубление. Ощупь показала, что это — низенькая дверь. Что за этой дверью? — смерть или спасение? Попытиться войти, или нет?

«Будь, что будет!» — решил Догерти и нажал на ручку.

Дверь бесшумно отворилась внутрь, — она была незаперта, и Догерти вошел в какое-то абсолютно темное помещение. Слышались какие-то отдаленные звуки человеческого голоса, но разобрать слов было невозможно.

Затворив за собою дверь, Догерти тем же испытанным способом, ощупью вдоль стены, двинулся вперед. Дойдя до угла, он ощупал новую стену и пошел вдоль нее. Вскоре он наткнулся на дверь. Приложив к ней ухо, Догерти стал го-

раздо лучше различать чей-то монотонный, без модуляций, голос, — точно это ручей журчал свои бесконечные песни...

Но этот голос вселял уверенность, что он не мог принадлежать большевику, — слишком уж он был размерен и спокоен.

Догерти потихоньку нажал на дверь. Она подалась и пропустила в щель луч слабого, тусклого света...

— ...«И взял Давид венец царя их с головы его, — ясно слышался ровный голос, читавший нараспев, — и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем; и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступал Давид со всеми городами Аммонитян»*.

«А, это что-то из Библии, — подумал Догерти, — следовательно, человек не плохой...»

Догерти распахнул дверь и вошел в почти пустую комнату. В одном углу стоял аналой, на котором лежала толстая книга, и к закраине которой была прикреплена зажженная восковая свеча. Перед аналоем стоял пожилой монах небольшого роста, в русой бороде которого виднелись серебряные нити.

Догерти вошел так тихо, что монах не слышал его шагов и продолжал читать; и только тогда, когда Догерти подошел поближе и свет свечи упал на него, — монах поднял глаза от книги и взглянул на неожиданного посетителя. Но ни страха, ни удивления не отразилось на его лице...

— Батюшка, простите, что я так неожиданно и в такое неурочное время ворвался к вам, — начал офицер.

Но монах прервал его:

— Капитан Догерти, я рад вас видеть здесь!..

Изумлению Догерти не было пределов:

— Разве вы меня знаете?

— Нет, господин капитан, я вас никогда не видел, но весь город полон разговоров о вашем таинственном исчезновении в Военном училище; кто же мог так необычно появиться

* *Примеч.* Паралипоменон, гл. 20, ст. 2 и 3.

ся здесь в ночное время, кроме вас? Но вам нельзя здесь оставаться: большевики вас везде усиленно ищут; и завтра утром наш монастырь будет весь обыскан. Подождите минуту, я доложу о вас отцу игумену и тотчас вернусь.

«Ага, — подумал Догерти, — значит, я нахожусь в Богородицком монастыре!..»

Монах ушел, и Догерти остался один среди звенящей тишины...

Тут только он почувствовал, что смертельно устал: страшное напряжение нервов в течение всего дня не могло пройти даром; и хотя его поддерживало радостное возбуждение при надежде на спасение, но глаза его невольно смыкались. Он свалился бы на каменный пол, если бы в этот момент не вернулся монах: в одной руке он нес кружку с водой, а в другой кусок хлеба. Под мышкой у него был какой-то сверток.

— Вот, господин капитан, подкрепитесь немного, извините, у нас, у монахов, теперь ничего достать нельзя, кроме хлеба и воды.

Догерти взял кружку и хлеб и стал с жадностью есть и пить. Никогда вода и хлеб не казались ему такими вкусными, очевидно, организм требовал пополнения потраченных сил.

Когда Догерти кончил есть, монах развернул принесенный им сверток. В нем оказались рыжие нанбуковые штаны, старый пиджак и стоптанные штиблеты.

Догерти мысленно похвалил монаха за его догадливость и быстро переоделся. Платье сильно его изменило: он походил в нем на захудалого мещанина или рабочего парня из какого-нибудь склада.

— Ну, господин капитан, — сказал монах, — теперь пойдем в место хоть не очень веселое, но зато безопасное.

Монах долго вел Догерти по бесконечным входам и выходам; на одном из перекрестков он снял с гвоздя тускло горевший фонарь и задул свечку, которой он освещал до сих пор дорогу.

Наконец, через маленькую, скрипучую дверь они вышли из коридора на открытый воздух. Темная, безлунная, безмолвная ночь окружила их. Вверху кое-где мерцали звезды...

Монах, освещая путь фонарем, повел Догерти по дорожке, усыпанной песком. Когда свет фонаря бросал тусклые блики по сторонам, то Догерти различал стволы деревьев и между ними белевшие кресты... Они шли по монастырскому кладбищу.

Монах бросил тропинку и они пошли целиной, лавируя между могилами.

Наконец они остановились около маленькой часовни-памятника, по-видимому, недавней постройки, на дверях которой висел заржавленный замок. Монах вынул ключ из кармана рясы, отпер замок и открыл скрипучую дверь. Они вошли в маленькое помещение, не больше трех квадратных ярдов. Прямо против входа на стене находилась икона Богоматери с Младенцем; перед ней висела лампада, сквозь красное стекло которой едва мерцал огонек. Монах тотчас задул лампаду, чтобы она не привлекла чьего-нибудь внимания...

Семья Власьевых

Несколько лет тому назад в Харбине на Китайской Восточной жел. дороге работал подрядчик по фамилии Власьев. Жена его умерла, оставив ему сына и дочь погодков. Во время начала Великой войны юноша Власьев пошел на войну вольноопределяющимся. Чтобы быть ближе к сыну, отец его ликвидировал дела в Харбине и переехал с дочерью на родину в г. Нижний Новгород. Вскоре молодой Власьев за отличие в боях был произведен в прапорщики, а затем пришла весть, что он убит, причем солдаты вынесли его труп с поля сражения и похоронили в тылу.

Старик Власьев тотчас поспешил на фронт, и ему удалось разыскать могилу сына. Он выкопал тело, положил его в деревянный гроб и привез его в Нижний. Здесь он купил на монастырском кладбище место и устроил склеп для трех тел; а над склепом построил маленькую часовенку с неугасаемой лампадой перед образом. Гроб с телом убитого был поставлен на подставках в склепе.

Отец и сестра так безумно тосковали по убитому, что в городе пошли всевозможные слухи о странной экзальтированной любви, связывавшей отца, сына и дочь.

И наконец, случилось то, чего никто предполагать не мог. Власьевы жили в гостинице, занимая большой номер. Однажды они весь день не выходили из своего помещения и не звали прислуги для уборки комнаты, как это обыкновенно они делали. Когда и на другой день они не вышли, то администрация гостиницы послала за полицией и, в присутствии последней, дверь была открыта.

Вошедшие увидели, что отец и дочь лежат на кроватях. Отец был мертв: по-видимому, он умер еще накануне; а дочь была еще жива и имела еще несколько сил, чтобы сказать:

— Зачем вы пришли? Неужели и умереть не дадите покойно! Мы с папой отравились!

Никакие меры помощи не могли спасти несчастную, и

она вскоре умерла.

По законам православной церкви самоубийц нельзя хоронить вместе с умершими своей смертью, а тем более на монастырском... Оба трупа были похоронены у ограды общего кладбища, а в склепе, рассчитанном на трех, остался почивать только один.

Часовня. Спокойный сосед. Приятная ночь. Странный вестник с благой вестью. Смерть в известке.

Вот к этому-то склепу монах и привел Догерти.

Монах снял висевший тут же на гвозде крючок и зацепил им утопленную в полу незаметную скобку и с большим усилием потянул кверху...

Медленно отошла кверху тяжелая подъемная дверь, и из образовавшегося отверстия на Догерти пахнуло затхлостью, сыростью и еще каким-то сладковатым, тошнотворным запахом.

— Ну, господин капитан, — обратился монах к Догерти, — ползайте. Место хотя и не из веселых, зато безопасное... Да и сосед у вас будет покойный, — прибавил он улыбаясь.

Монах опустил фонарь над самым отверстием, и Догерти увидел несколько ступеней; но как раз под серединой отверстия, опираясь одним концом на одну из ступеней, а другим на подставку, стоял гроб.

Догерти начал спускаться. Справа и слева от гроба было по одинаковому свободному пространству. Какое бы из них Догерти ни выбрал, все равно приходилось перелезать через гроб.

Догерти полез вправо. Пол склепа находился так неглубоко, что Догерти не мог стоять выпрямившись. Он, согнувшись, нащупал сырой и холодный угол каменного склепа; в тот момент крышка захлопнулась над ним, и он остался наедине с безмолвным товарищем в абсолютном мраке...

Стоять согнувшись было мучительно, и Догерти принужден был опуститься на пол. Противный запах все усиливался, и ему казалось, что он задыхается.

Вдруг внимание его привлек время от времени повторяющийся звук падающей капли; и в то же время рука его попала в какую-то лужу...

Это из щелей гроба просачивались продукты разложения трупа.

Догерти казалось, что он сойдет с ума: лучше бесчисленные опасности там, наверху, лучше сама смерть, чем это соседство разлагающегося трупа...

Он хотел бежать, вскочил... и ударился головой о низкий потолок. Чтоб поднять крышку склепа, он должен будет лечь на гроб, упереться в него и напрячь все силы, потому что крышка была очень тяжела.

А если гроб под его тяжестью провалится? А это будет неверное... Догерти похолодел от ужаса при одной этой мысли...

Все его попытки поднять крышку, не упираясь в гроб, были безуспешны. Он только измучился и, мокрый от пота, присел опять в угол на полу.

Волнения всего дня и физическая усталость вызвали реакцию. Он перестал чувствовать противный запах и через минуту заснул крепко, как убитый.

Ему казалось, что он задремал на минуту, когда его разбудил скрип поднимающейся двери.

«Большевики нашли», — мелькнула у него первая мысль, когда узкая полоска света блеснула над ним и в его могилу ворвалась струя свежего воздуха.

— Ну, как вы себя чувствуете? — раздался знакомый голос монаха — отца Виктора.

Догерти увидел, что на дворе уже утро.

— А я вам закусить принес, — продолжал монах, подавая капитану кусок хлеба, кружку с чаем и две печеные картофелины. — Извините, у нас больше ничего нет.... А у нас в монастыре уже обыск был, и даже кладбище осматривали, да ничего не нашли, — смеялся монах.

Догерти с жадностью съел все, что принес отец Виктор. Страхи его исчезли, и о присутствии трупа он позабыл: очевидно, восприимчивость притупилась.

— А у нас тут по соседству производится ремонт каменного дома, и на дворе стоит большое творило с известью. Кто-то сказал, что вас большевики бросили в известку и вы сгорели там. Так как вас нигде не могут найти, то все, кажется, поверили этому... Это хорошо!

Догерти обрадовался: несомненно, прибавился лишний шанс для его спасения. Вдруг он вспомнил: «Лиза! А как же

Лиза? Что с ней, такой хрупкой и нервной, сделается, когда она услышит про мою такую ужасную смерть? Нужно во что бы то ни стало ее предупредить!»

Когда он поделился своими соображениями с о. Виктором, последний согласился с тем, что жену предупредить то надо, но только вести ей себя необходимо так, как будто она сама верит в смерть мужа.

— Кто же ее предупредит? — развел руками Догерти.

— А я, — просто ответил монах.

Не теряя времени, о. Виктор отправился по указанному капитаном адресу и нашел гостиницу, в которой жила Елизавета Михайловна. Он постучал в дверь ее номера.

— Войдите, — раздался женский голос; о. Виктор отворил двери и вошел в комнату.

Увидя черную фигуру монаха, Елизавета Михайловна, стоявшая у окна, ахнула и упала в обморок на пол... Очевидно, неожиданный визит незнакомого монаха не мог, по ее мнению, предвещать ничего иного, как только подтверждение уже дошедших до нее слухов о смерти мужа.

Долго хлопотал о. Виктор вместе с позванной горничной над неподвижной Елизаветой Михайловной, пока зеленоватые тени не сошли с ее бледного лица и она пришла, наконец, в чувство...

Но велика же была ее радость, когда после ухода горничной о. Виктор рассказал ей, что ее муж жив, здоров, и находится в относительной безопасности.

В тот же день Елизавета Михайловна, одетая в строгий траур, отправилась к командующему войсками прапорщику Ершову, и была им немедленно принята.

С криком: «Где мой муж, отдайте мне хоть его тело!» Елизавета Михайловна бросилась, протягивая руки, к Ершову, и с ней начался жестокий приступ истерии.

Ершов растерялся, забегал, захлопотал и всячески старался успокоить женщину.

— Успокойтесь, пожалуйста, — говорил он, — мы сами не знаем ничего о его судьбе!

— Как не знаете? Вы ведь приказали его бросить в известку!

— Клянусь вам, — оправдывался Ершов, — что мне об этом абсолютно ничего не известно достоверного; мало ли что болтают досужие языки!

— Значит, он у вас содержится под арестом!

— Уверяю вас, что у нас его нет!

Словом, Елизавета Михайловна так хорошо сыграла свою роль, что большевики еще больше поверили смерти Догерти в известковой яме; ведь если бы он был, жив, то не мог же он не уведомить об этом свою жену.

Все это на другой день рассказал капитану отец Виктор. Рассказал он также о тех ужасах и безобразиях, которые творятся в городе, рассказал и о смерти их общего знакомого — полковника Воронова.

Полковник Воронов

Воронов был заведующим обмундированием в Военном училище. Это был очень добрый, отзывчивый человек, но требовательный по службе. По роду своих обязанностей, никакого непосредственного отношения ни к юнкерам, ни к нижним чинам училища он не имел; ни близких друзей, ни врагов у него не было.

Когда училище было захвачено мятежниками, Воронов увидел, что нужно уходить. Он переоделся в штатское платье* и вместе со своей женой и двумя детьми пошел пешком на ближайший железнодорожный разъезд, потому что вокзал в самом городе был переполнен бунтовщиками, и попасть на нем в поезд было мудрено.

Движение по дороге было большое; много пешеходов шло туда и сюда. Все сначала шло хорошо, но, когда он выходил уже из города, навстречу ему попала группа солдат с каким-то штатским; одежда их была в самом растерзанном виде. Пиликала гармоника, подпевалась похабная песня.

Один из солдат, всмотревшись в Воронова, сказал:

— Ребята! Да ведь это — полковник Воронов!

Тогда и Воронов узнал его: это был один из служителей училища, не так давно за пьянство и дурное поведение уволенный из училища обратно в строй.

Солдат подошел вплотную к Воронову и, гадко выругавшись, ударил его кулаком по лицу. Из разбитого рта полилась кровь, и Воронов выплюнул два зуба, — один был с золотой коронкой.

— Э, да у него золотые зубы! Бери их, робя! — И солдаты выбили Воронову все зубы...

Оглушенный ударами, несчастный упал на землю. Солдаты стали его бить ногами и топтать...

* *Примеч.:* В России офицеры обязаны были всегда носить военную форму.

— Погодите, — крикнул один из солдат, — я устрою штуку!

Он побежал в находившуюся поблизости пригородную лавчонку и скоро вернулся оттуда, неся банку керосина. Воронову связали ремешками руки и ноги и облили керосином.

Несчастливая жена бросилась к солдатам, умоляя пощадить ее мужа; она плакала, ползала на коленях от одного солдата к другому, обнимала их ноги и целовала сапоги. Один из солдат сильно ударил ее носком сапога в лицо, и она опрокинулась на землю; а другой в это время чиркнул спичкой и поджег платье Воронова.

В один миг несчастный человек превратился в живой факел.

Нечеловеческий вой горящего человека был встречен диким хохотом. Солдаты, взявшись за руки, образовали вокруг горевшего хоровод, который под звуки гармоники, дико кружась, приплясывая, хохотал и орал плясовую песню; а вокруг этого адского круга бегала, рыдала, умоляла и взывала к Господу несчастная, окровавленная женщина.... Дети, полумертвые от ужаса, оцепенев, смотрели на муки отца, который скоро перестал кричать, но жестоко корчился. Постепенно корчи ослабевали и, наконец, прекратились. Тело превратилось в обугленный труп с лопнувшими глазами и кровоточащими трещинами на обугленном мясе. Тогда солдаты с хохотом сказали притихшей вдруг женщине:

— Ну, барыня, так и быть, смилуемся над тобою: бери себе своего муженька и милуйся с ним!

Под звуки гармоники и взрывы хохота солдаты ушли; а жена Воронова села около трупа мужа и спокойно, без слез, говорит детям:

— Тише, дети, не шумите, — папа спать хочет!

Она сошла с ума.

Свидетелей было много, но никто не решился остановить дьяволов.

Детей кто-то увел с собою. О судьбе женщины о. Виктор не знал.

Яков Постышев и Иван Михайлов. Жандарм.

Прошло несколько дней, в течение которых Догерти продолжал скрываться в склепе. Но он понимал, что долго так продолжаться не могло: малейшая случайность могла выдать тайну его местопребывания, — и погубить монастырь и всех его монахов.

Нужно было уходить из Нижнего Новгорода.

Отслужив панихиду, Елизавета Михайловна свободно и беспрепятственно уехала по дороге в Москву, — проливая слезы о своем погибшем муже....

Дней через пять после ее отъезда Догерти достал паспорт на имя мещанина Якова Постышева и вышел из своего тайника. Широкие выцветшие пестрядинные шаровары, опорки на босую ногу, рубаха навывпуск, обтрепанный жилет, сильно подержанный картуз и небритое лицо так изменили наружность Догерти, что его вряд ли сразу узнала бы его собственная жена.

Масса новостей, ежедневно приходивших в Нижний со всех концов России о творившихся в ней событиях, да и то, что творилось в самом Нижнем, — вызывало новую злобу дня и скоро заглушило интерес к исчезновению Догерти; о нем уже не вспоминали...

Догерти понимал, что ему, незнакомому с окрестностями Нижнего Новгорода, будет трудно уйти из этого осинового гнезда. Поэтому он стал искать товарища. Те же монахи указали ему одного бесшабашного, но верного парня из нижегородских мещан, — Ивана Афанасьева.

Догерти скоро столкнулся с Афанасьевым, купил ему паспорт (деньги Догерти были переданы женой через отца Виктора) на имя Ивана Михайлова, разработал план побега, и поручил Афанасьеву произвести необходимые для пути покупки.

Все шло, по-видимому, хорошо; но в четверг вечером, накануне их отъезда, Афанасьев «проявил инициативу», зашел

в парикмахерскую и заказал зачем-то приставные усы...

Усы были сделаны. Получив их, Афанасьев явился к Догерти и похвастал ими.

— Зачем вы это сделали? — удивился капитан.

— С этими усами меня мать родная не узнает, — отвечал довольный Афанасьев.

На другой день, под вечер, Догерти и Афанасьев, оба обтрепанные, сидели в вагоне 3-го класса поезда, отправлявшегося на запад. Когда поезд тронулся и контроль стал проверять билеты, кондуктора сказали, что на первой же станции, Зеленый Луг, поезд будет задержан: туда прибудет сам командующий войсками, прапорщик Ершов, и произведет осмотр пассажиров: ищут сбежавшего офицера...

Догерти и Афанасьев похолодели: очевидно, ищут Догерти...

Они не знали того, что дня за два перед тем с гауптвахты скрылся капитан Бирюков, которого бунтовщики считали одним из самых главных своих врагов. Когда парикмахер донес, куда следует, что какой-то подозрительный субъект заказывал ему усы, причем торопил его, парикмахера, говоря, что усы ему нужны непременно к завтрашнему дню, — то большевики решили, что этот субъект не кто иной, как капитан Бирюков, который должен сегодня бежать из города. Это подтверждалось еще и тем, что Бирюков всегда был бритым, — а теперь, для изменения лица, заказал усы...

Как бы то ни было, положение беглецов обострялось: во что бы то ни стало им нужно было избежать военного контроля, — т. е., скрыться до прихода поезда на станцию.

Поезд стал замедлять ход; Догерти и Афанасьев, оставив на местах свои маленькие чемоданы, чтобы не возбуждать ничьего подозрения, вышли на платформу вагона. Вот уже видна и станция; и, хотя на перроне не было видно ни толпы, ни чего-либо необычного, — но Догерти и Афанасьев не стали дожидаться остановки поезда: шагах в трехстах от станционной платформы они благополучно спрыгнули со ступенек вагона и юркнули в кусты.

Поезд стоял полчаса, а затем отправился дальше.

Беглецы видели, как с перрона станции один за другим

уходили все чины станции, которым полагалось присутствовать при отправлении поезда, и на платформе, как будто, никого не осталось. Есть им очень хотелось, — они с утра ничего не ели, — и они решили отправиться в станционный буфет, который еще, наверное, не успел закрыться.

Они направились к станции. Но только что они хотели подняться на платформу, как вдруг перед ними неожиданно вырос жандарм, — даже в настоящей жандармской форме, — только без погон.

Жандарм подозрительно оглядел две новые для него фигуры (всех местных жителей он, конечно, знал хорошо), — и остановил их:

— Вы откуда?

— Да вот, господин унтер, — отвечал Догерти, — отстали мы от поезда, — приходится догонять!

— А кто вы такие будете?

— Мы певчие, посланы были в Астраханскую певческую школу на выучку; школа теперь закрылась, и мы едем назад и не знаем, попадем ли домой.

— А паспорт есть?

— Как же можно без паспорта? Конечно, есть.

— Давайте-ка их!

Догерти и Афанасьев полезли во внутренние, специально пришитые карманы жилетов за паспортами. От волнения Догерти на минуту забыл свою «паспортную» фамилию и мучительно думал: «Как моя фамилия? как?».

Афанасьев достал первый и подал лист жандарму. Пока последний разворачивал паспорт, Догерти успел достать свой паспорт, развернуть и бросить на него взгляд: «Постышев. Я — Постышев, Яков!»

— Как фамилия? — спросил жандарм.

— Иван Михайлов, — ответил усач.

— Постышев Яков, — вторил ему Догерти.

— А ваши вещи где?

— В вагоне остались, два чемоданчика, один черный, другой рыжий.

— А вот мы увидим, как это вы от поезда отстали. Пойдемте в дежурную!

И жандарм повел их в аппаратную, половина которой барьером отделялась от помещения дежурных агентов.

— Иван Петрович, — обратился жандарм к телеграфисту, — стукните-ка на станцию Несвижск, какие-то чемоданчики забыли в поезде эти стрикулисты, рыженький да черненький. Поезд там стоит долго, успеют найти и прислать сюда... А вас я голубчики, арестую и пошлю куда следует!

Догерти чувствовал, что все здание его спасения, построенное с таким трудом, рушится...

Но Афанасьев, которому, очевидно, терять было нечего, — неожиданно набросился на жандарма с такими, неслыханными прежде капитаном, виртуозными ругательствами, что даже жандарм опешил. Так мастерски ругаться мог, очевидно, по его мнению, только действительно ученик певческой школы... Под напором Афанасьева он стал сдавать и только повторял:

— Чего ты лаешься?! Протокол составлю! погоди уж! Вот сейчас узнаем, какие-то у вас были чемоданчики!.

Не прошло и десяти минут, как аппарат стал выстукивать из Несвижска: «Чемоданы рыжий и черный найдены в третьем классе. Высылаются Зеленый Луг номером пятьдесят вторым».

Жандарм был изумлен и смущен: он был уверен, что задержанные бродяги попросту выдумали про чемоданы...

Афанасьев, а за ним и Догерти снова набросились на жандарма:

— Ага, что? Мы жалиться будем, теперь не царские времена, вам это наша рабоче-крестьянская власть не пропустит!

— Да плюньте на них, Максим Иванович, — вступился телеграфист, — не связывайтесь: руки марать не стоит!..

Жандарм махнул рукой:

— А убирайтесь вы к черту!... Пойду лучше ужинать!

И грозное начальство ушло со станции. Вскоре пришел встречный товарный поезд 52-й, который привез чемоданы. Телеграфист выдал их под расписки «Постышеву» и «Михайлову», которые ног под собой не чувствовали от радости

после такого оборота дела. Со следующим поездом они двинулись дальше; Афанасьев слез в Несвижске, а Догерти направился прямо в Москву, где он условился встретиться с женою.

Московская газета

Елизавета Михайловна уже несколько дней ожидала мужа в скромных комнатах на Малой Дмитровке. Нечего говорить, как встретились супруги после дней таких ужасных переживаний...

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Догерти. Вошел номерной.

— Не прикажете ли свеженькую газету? — спросил он, подавая сложенный номер какой-то газеты.

Догерти взял.

— А как прикажете вас прописать?

— Капитан Догерти, — ответил капитан машинально.

Коридорный поклонился и вышел.

Елизавета Михайловна укоризненно посмотрела на мужа:

— А не сделал ли ты оплошности, назвав свою настоящую фамилию? Я ведь прописалась по оставшемуся у нас паспорту бывшей у меня в прошлом году горничной Дуняши.

Догерти сам чувствовал, что сделал ошибку; но, желая ободрить жену ответил:

— Ерунда! Мало ли теперь странствует по России разных капитанов; да и кто обо мне знает!

Он развернул газету и начал читать.

— Вот те и раз! — проговорил растерянно.

— Что такое? — взволновалась Елизавета Михайловна.

— Вот, смотри! — указал ей муж место в газете: «События в Нижнем Новгороде». В газете весьма правдиво, но в большевистском освещении, было описано то что произошло в Нижнем за последнее время, роль капитана Догерти и его таинственное исчезновение.

Елизавета Михайловна всплеснула руками:

— Да ведь наша гостиница тотчас должна уведомить полицию, что ты остановился здесь.

Супруги Догерти немедленно собрались, благо вещей у них было очень мало, — оставили деньги «за постой» на столе по приблизительному подсчету и вышли из меблированных комнат с тем, чтобы больше никогда в них не возвращаться.

Муха

— А какая же дальнейшая судьба действующих лиц?

— Догерти с женой добрался до Маньчжурии и сначала бился там, как рыба об лед, в поисках работы. Одно время он был переводчиком в Американском железнодорожном техническом комитете, потом нашел другое занятие...

Никто, кроме близких друзей, не подозревал, что Догерти курит опиум... Иногда в этом отношении он доходил до последней, дозволенной ему грани... Один почтенный китаец рассказывал мне, что однажды он с двумя своими служащими глубокой осенью ехал по жел. дороге из Харбина в Хайлар. В одном отделении с ним ехал какой-то русский, отлично говоривший на интеллигентном китайском языке. Когда рассказчик извинился перед спутником и расположился покурить опиум, то был немало удивлен, что и его русский попутчик тоже устроился на верхнем сиденьи и также начал курить...

После того, как они выкурили по несколько трубок и сидели уже внизу друг против друга, китаец дал поручение одному из своих служащих — на ближайшей станции купить папирос, и вынул кошелек, чтобы дать тому денег. Русский спутник, глядя красными глазами на кошелек, сказал: «В буфете нужно платить русскими деньгами, а у вас — только китайские!»

— Почему вы знаете? — спросил китаец.

— Я вижу!

Китаец открыл кошелек: русский был прав.

Поезд шел дальше. Заинтересованный донельзя, китаец стал говорить с русским о даосизме, о Лао Цзы, Чжан Даолине и других великих святых и магах, обладавших великой тайной воскресения....

Оказалось, что этот странный русский имел во всем этом сведения не меньшие, чем рассказчик-китаец:

— Если организм не испорчен, — то вернуть ему отле-

тевшую жизнь, я думаю, не так уж трудно, — сказал он.

— Да вот нам муха, — отозвался китаец, указывая на уснувшее в окне между двумя рамами и лежавшее кверху лапками насекомое, — она ведь цела; но как вернуть ей жизнь?

Русский встал и, держась обеими руками за приделанный под окном столик, стал пристально смотреть на мертвую муху красными, воспаленными после курения опиума глазами. Лицо его окаменело; лоб покрылся испариной, глаза выходили из орбит...

И вдруг муха шевельнулась... Еще момент, она шевельнулась сильнее, задвигала лапками, затем перевернулась и поползла.

У китайца на голове волосы поднялись от ужаса; но он не мог анализировать своих ощущений, потому что русский закрыл глаза и упал на сиденье, — надо было ему помогать.

Расспросив китайца о наружности его русского спутника, я убедился, что это был Догерти.

Впоследствии, встретив его в интимной обстановке, я сказал ему, какие чудеса рассказывает о нем китаец.

— Да, — ответил Догерти, — я помню, был такой грех со мною... Я увлекся обстановкой и перекурил немного больше, чем можно было. И со мною случилось что-то необычное: я как будто потерял вес, и все предметы, кроме металлических, стали просвечивать.

Я заметил это сам тогда, когда китаец вынул кошелек, и я ясно увидел сквозь его кожу, что в нем лежит несколько серебряных китайских монет. А когда китаец в разговоре обратил мое внимание на муху, что-то как бы толкнуло меня: я напряг всю силу моей воли, приказывая ей ожить... И когда она зашевелилась, — я сам почувствовал необычайный подъем и вместе с тем ужас, как перед открывшейся передо мною бездной; это состояние скоро окончилось как бы электрическим ударом, после которого я некоторое время был без сознания. До этого же времени мысль моя была необычайно ясна и память обострена сверх норм....

— А после были еще подобные случаи?

— Нет. Я пробовал повторить, но у меня ничего не выходило; вероятно, потому, что я не рисковал уже перекури-

вать так много, боясь, что это может плохо для меня кончиться. А может быть, вся и история с мухой была простой случайностью!..

Послесловие

Прошло еще немного времени, и Догерти, теперь уже подполковник, был приглашен читать лекции по артиллерии во вновь образованном в городе М. китайском офицерском артиллерийском училище — где вероятно, он находится и в настоящее время. Если хотите, я дам вам его адрес.

— А какова судьба остальных упомянутых в вашем рассказе персонажей?

— Поручика Воскресенского солдаты тогда, в здании училища, стали бить по голове дулами ружей. Он закрыл голову руками; ударами ему раздробили пальцы, и он без чувств упал на пол. Но после он поправился; и ему удалось уехать в Москву к отцу-священнику, который служил в церкви Воскресения на улице Воскресенке. Что с ним было дальше, — не знаю.

Всего удивительнее было то, что случилось с фельдфебелем Бирюлиным. Вы помните, — штыками он был поднят на воздух... И представьте себе: несмотря на одиннадцать штыковых ран, — он выжил; и добрался потом до своей деревни. Дальнейшая судьба его неизвестна. Когда развернулась «великая бескровная» во всю свою ширь и гнусность — наверное, он погиб.

Друг мой Догерти! Прости, если я что-либо позабыл и неточно передал твою одиссею; ведь сколько лет уже прошло! Ты сам — не пишешь; а я — стар и, если бы теперь не рассказал, то унес бы с собою в гроб твою историю. И наша смена не вписала бы, быть может, твоего имени в славный список офицеров нашей старой Императорской армии, которые были готовы принять скорее мученическую кончину, чем изменить Родине, долгу и присяге...

Вот вам, Джон, тема для вашего очередного романа; мой сухой рассказ вы сумеете расцветить, разукрасить согласно вкусам современной читающей публики — и растянуть его на целую книгу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Издательство выражает глубокую благодарность г-же Патриции Полански, библиографу библиотеки Гамильтона Гавайского университета, за предоставленный скан книги *История капитана Догерти*.

В публикуемых текстах безоговорочно исправлены очевидные опечатки; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. За единичными исключениями (напр. «женышень»), сохранено авторское написание имен, географических названий, китайских слов и понятий.

Хунхузы

Впервые: Шкуркин П. В. Хунхузы: Рассказы из китайского быта [на тит. подзаг.: Этнографические рассказы]. Харбин: Типо-лит. т-ва «Озо», 1924.

Игроки

Впервые: Шкуркин П. В. Игроки: Китайская быль. Харбин: Типо-Лито-Фото-Цинкография Л. М. Абрамовича, 1926.

История капитана Догерти

Впервые: Шкуркин П. В. История капитана Догерти. San-Francisco: Земля Колумба, [1939].

Оглавление

ХУНХУЗЫ: Рассказы из китайского быта	6
Несколько слов	9
I. Отплата	11
II. Старая хлеб-соль	19
III. Серьги	22
IV. Как я сделался хунхузом	35
V. В гостях у хунхузов	44
VI. Награда	58
VII. Маньчжурский князек	64
ИГРОКИ: Китайская быль	90
I. Несколько слов	92
II. Точный расчет	95
III. Ставка Шейлока	98
IV. Не ожидал	106
V. Мечты	113
VI. Малыш	122
VII. Счастливый игрок: (Шанхайские силуэты)	143

ИСТОРИЯ КАПИТАНА ДОГЕРТИ	170
История капитана Догерти	172
Примечания	212

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.